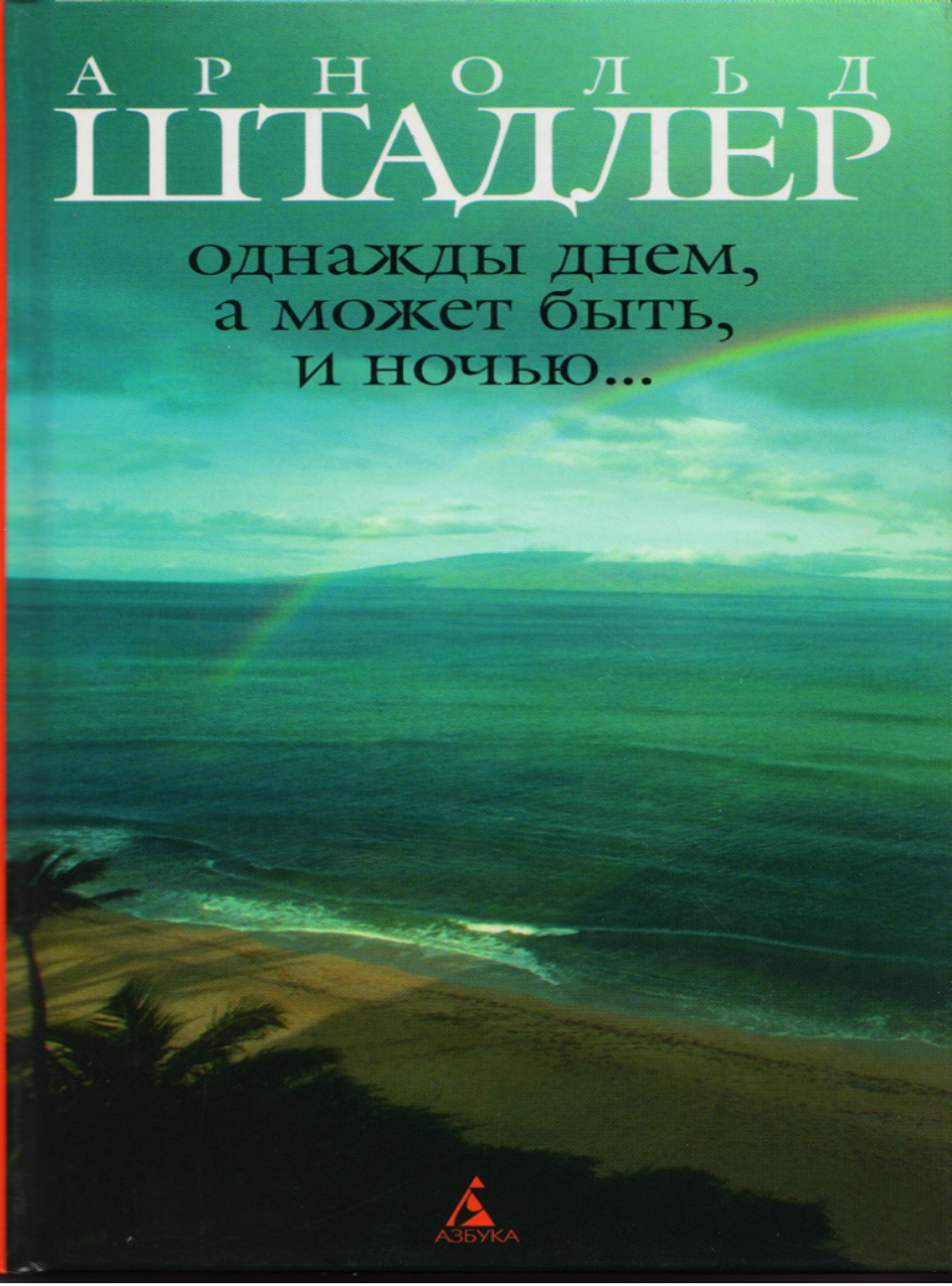
АРНОЛЬД

ШТАДЛЕР

однажды днем, а может быть, и ночью...



АЗБУКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

А. Штадлер — один из самых известных немецких писателей начала нового столетия, поэт и прозаик, автор романов «Жил-был я», «Смерть и я, мы двое», «Очаровательный старьевщик» и др. Вряд ли за последнее десятилетие вам приходилось читать такую красивую, печальную и одухотворенную прозу, как роман А. Штадлера «Однажды днем, а может быть, и ночью…».

Это книга о времени, которое таит в себе безумие, и о безумии, которое таит в себе время. Это книга о Франце Маринелли, фотографе, который пытался остановить мгновение и чья мгновенная, прекрасная и печальная судьба растворилась в зеленых водах Венецианского залива. Хотя, может быть, именно к этому он подспудно стремился всю жизнь…

- Арнольд Штадлер
  - * * *
  - I
  - II
  - III
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66

- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103

Арнольд Штадлер

Однажды днем, а может быть, и ночью…

* * *

I will wait for you all my life and today for your call at 7.30 p.m.

Ramona[1]

Закончив свой рассказ, он тут же спросил: «А с тобой как было?»

Итало Звево[2]

Бледно-голубое море, которое в течение дня будет отливать фисташково-зеленым, а потом примет все оттенки бирюзового, раскинулось, словно это навсегда, словно так будет продолжаться целую вечность. Это было в невесомый, легчайший, утренний час, — потом на фоне неба проступили пальмы и белизна пляжа. А потом сгустились сумерки.

На другое утро на берегу моря лежал, блаженно вытянувшись, какой-то человек, лежал так, словно всю жизнь хотел отделаться от себя самого и вот наконец достиг своей цели, такая умилительная это была картина, лежит и словно спит безмятежным сном. Над Гаваной только что взошло солнце, все было белое, и темно-розовое, и серое, как Хузум.[3] *А потом сгустились сумерки.*

В сумерках он уже лежал в зале анатомического театра. Впрочем, это слишком сильно сказано — «лежал». Слишком сильно сказано, слишком сильно, да и «зал анатомического театра медицинского факультета Гаванского университета» — тоже слишком сильно сказано… Зал этот больше напоминал барак, а человек был мертв.

По пляжу имени Патриса Лумумбы шатался бродяга с чемоданом. Он казался человеком, который когда-нибудь скажет самому себе: «Я один из тех, с кем предпочел бы не знакомиться».

Со стаканом, наполненным с виду водой, он ходил туда-сюда, то и дело доливая из бутылки, припрятанной в чемодане под пальмой, из безобидной бутылки. Сначала он еще бродил по пляжу и надоедал купающимся, был с ними вежлив и любезен, независимо от их пола, и приглашал их в Вену. Ну как же, Vienna,

точно, знаем — знаем.

Он казался веселым, по крайней мере здесь, на Кубе, которая все последние годы билась в агонии, напоминавшей затянувшееся, мучительное умирание Кастро. В те годы, месяцы, недели, дни, часы, минуты и секунды, которые ему еще остались, бедняга по-прежнему выносил смертные приговоры, словно не может умереть один, словно должен уйти, окруженный людьми, как в ту пору, когда революция только начиналась и он приплыл из Мексики на яхте «Гранма» или когда они с Че, юные боги посреди ликующей толпы, сияющие, с Калашниковыми и сигарами, спустились с гор Сьерра-Маэстра и вышли к Сайта-Кларе, — их просто нельзя было не любить. Кто только в те дни блеска и триумфа не хотел побрататься с Кастро, а теперь ему суждено было свести близкое знакомство со смертью. Вначале это была жизнь, в конце — смерть… Смерти предстояло стать последним доказательством того, что он действительно жил.

Нынче он приказывал ловить тех, кто в ту пору с ликованием встречал героев, триумфально входивших в Гавану, или сам был в рядах повстанцев и кто теперь, в старости, мечтал сбежать в США, от него подальше. А он реагировал на это как психопат, от которого ушла возлюбленная и который одержим единственной мыслью — ее убить. Уж лучше бы убил себя самого. Уж лучше бы покончил с собой. *Ему давно следовало бы покончить с собой, тогда все они могли бы выжить.* А еще несгибаемый солдат революции, обреченный на вечную, нескончаемую битву за правое дело и вступившие в последнюю, отчаянную стадию борьбы со смертью, губил детей и внуков этих революционеров. Он обращался с ними как со своей собственностью, а с людьми вообще — как с вредными насекомыми. Он выносил смертные приговоры тем, кто стремился от него убежать: на крошечных яликах, на надувных лодках, без горючего, даже без воды и без надежды… Он увлекал их за собой в затянувшееся на много лет умирание, словно времени между его торжеством и его гибелью не существовало. Примерно так думала или чувствовала Куба в тот год, когда Франц Маринелли был обнаружен на пляже имени Патриса Лумумбы, названном в честь благородного и прекрасного, как кубинские герои, африканца, отдавшего жизнь за революцию.

«Я каждый день молюсь Господу, чтобы он забрал его к себе, но Господь меня не слышит!» — об этом молились в ту пору даже самые преданные его сторонники, в том числе бабушка Рамоны, еще верившая в Бога.

Последним и единственным желанием народа было пережить не только революцию, но и самого великого лидера, и то-то бы

народ отпраздновал это радостное событие на гаванской площади Революции, но это желание все не исполнялось. Да и Маринелли этого не застал. Так уж повелось, что мы умираем, не успев узнать великую новость, появившуюся во всех средствах массовой информации вечером того дня, утром которого нас не стало. Например, тот, кто вчера умер, сегодня не узнает о смерти человека, который сопровождал его всю жизнь в теленовостях, с которым он, кажется, всю жизнь прожил. Дорогое, великое имя; он узнал бы об этом, если бы дожил до утренних газет, но уже поздно. *Понимаете, о чем я?* Лишь те, кто пока жив, смогут сказать, кто умер и кто мертв. Мертв, как Франц. *Понимаете, о чем я?* Это часто мучило и волновало тех, кто пока остался в живых.

Гаванцы и гаванки щеголяли на пляже в эффектно поблескивающих купальных костюмах — все на них было узкое и тесное, было, как и весь остров, чем-то вроде тесной тюремной камеры, но камеры соблазнительной, — смеялись и смотрели на море. А потом они ушли с пляжа домой, он остался один, в какой-то момент устал и прилег отдохнуть. Но что произошло потом? Все было как в жизни. И вот сгустились сумерки.

В кошельке, пополнившем арсенал анатомического театра, среди купюр затесались несколько моментальных снимков. На них была обнаженная женщина. А еще там нашлись две обычные, слегка пожелтевшие фотографии: собаки и другой красивой женщины, вероятно матери.

«Te quiero — Baby de mi vida — Ramona para siempre»[4] - похоже на посвящение.

Сам покойник к этому времени уже немного побледнел и позеленел.

Итак, эта история заканчивается тоже зеленым цветом.

Зеленым, как море, как цвет, который обрело его тело, как цвет зелени, присущий его родной земле, словно он жаждет туда вернуться. Зеленым, как Венский лес, зеленым, как семейство Маринелли, все сплошь охотники, — все зелено. Бабка с материнской стороны с моря, да и дед с отцовской стороны с гор, охотник на кабанов и крупную дичь. Все было зелено, зеленее не бывает, зеленым было даже белье покойника, доставленное фирмой из Граца, специализирующейся на «изготовлении пуговиц и товаров из оленьего рога. Рассылка по Австрии и бывшим коронным землям».[5]

Честь имею, даже могила была в высшей степени зеленой.

И все носили зеленое нижнее белье, а никто этого и не заметил. И само собой, свадебный костюм тоже был зеленый, темного, совсем темного оттенка зеленого цвета, скатывающегося

в ночь, насыщенного зеленого цвета. Может быть, даже свадебное платье было зеленое, даже фата, словно и дальше так всегда будет, до бесконечности.

I

1

«Все наши домашние несчастья, — додумался он наконец, — наверно, оттого, что у нас нет пальм, вот разве что несколько в оранжерее в Шёнбрунне».[6]

Когда Франц был маленьким, ему купили черепаху. Звали ее Максимилиан Мексиканский,[7] или просто Макс. Поскольку Франц пока не бывал ни в Мексике, ни даже — ни разу — на море, не говоря уже о краях, где эти животные водятся на воле, как в раю, и поскольку он находился на немыслимом расстоянии от свободно — живущих пальм, теряющихся в небесах, он хотел черепаху. А еще потому, что она так здорово втягивала голову.

А еще она классно умела спать и почти не замечала, что происходит вокруг.

Макс якобы приплыл с Кубы морем.

Францу еще в детстве снились Куба и Мексика. Ведь все венские несчастья оттого, что Вена не на море. Но Франц был не так уж несчастен. Он был ребенком и жил там, где жил, так, словно живет где-то в другом месте.

Вокруг него шла война, а театром военных действий была спальня его родителей. Но и он, как его черепаха, почти ничего не замечал, словно бомбы падают и снаряды рвутся не на самом деле, а понарошку. Он то и дело засыпал, а между тем мир был охвачен пламенем. Как и за двадцать лет до его рождения, в развалинах играли кошки и дети, дети в развалинах играли в войну, и все цвело вокруг.

Правда, Франц еще ребенком мечтал убежать, но даже больше, чем рай, его в детстве манили те края, где нет ничего того, что окружало его на самом деле. Больше, чем рай, его манили небеса, которых, может быть, и нет вовсе, как ему уже говорили. Но больше всего он хотел убежать от ночных ссор своих родителей, лежавших в *одной* постели. Ночи напролет он слушал, как его мать произносит, шепчет и выкрикивает: «Врет!» Вероятно, она была права.

Это было его первое воспоминание.

Страх, который внушило ему это слово с того самого дня, когда он впервые его услышал, вгрызся в подсознание Франца и вызвал первые детские кошмары, однако его родители здесь, в этом порождающем кошмары месте, выдержали несколько десятилетий, ссорясь и ссорясь, порождая все новые и новые

кошмары и зачиная детей. Они и сейчас еще лежали бы в этом сооружении, задуманном как кровать с балдахином, в одной из первых роскошных спален начала шестидесятых, выставочной модели, если бы Франц Иосиф, как обычно бывает, все-таки не умер первым, «ушел от нас», как гласил некролог, а ведь на самом-то деле он умер сидя! Да как такое могло быть? В мире так много лгали, в том числе и из страха смерти. Значит, он умер, однако не здесь и не в постели дома для престарелых с круглосуточным уходом, а при менее почтенных обстоятельствах в Санкт-Пёльтене.

Франц все проспал.

Франц Иосиф, его отец, при жизни не любил ходить пешком. Чаще всего он сидел у себя за кафедрой, стоял на вскрытии в зале анатомического театра, лежал на левом или на правом боку в своем автомобильном фургончике и устраивался рядом, под или на одной из своих женщин и то и дело просыпался. Значит, впервые он действительно ушел. И теперь появилась еще одна вдова, которая восторжествовала над покойником. Незадолго до его смерти она еще успела объявить мужа недееспособным, а вскоре, уже сама объявленная недееспособной, влачила жалкое существование между клеткой с попугаем и аквариумом в самом роскошном венском доме для престарелых. Там она все твердила два слова: «амок» и «бойня», — и сиделкам было невдомек, что же это значит, они только гадали, а что если она пережила бойню в детстве, в ту пору, «когда русские в Вене мыли картошку в туалетах», любую венскую таксистку спросите. Единственное слово из ее лексикона, понятное персоналу дома для престарелых, было «Врет!», хотя они и не знали, кого она имеет в виду. Вероятно, кого-то из них, но им-то зачем беспокоиться, старуха ведь признана недееспособной. Чудом выжила, не иначе, а ведет себя как победительница. В каком-то смысле она действительно была победительницей, ведь она все выдержала, сжила со свету мужа и всегда поступала согласно девизу «Убью, но развода не дам!», которого никогда не скрывала. Но это была пиррова победа.

Клэр была дочерью строительного подрядчика, сооружавшего бункеры и противовоздушные башни[8], некоторые из них до сих пор стоят в центре города. Он был не нацистом, а всего-навсего строителем: виллы, бункеры. Таким образом, Ханс Эбер за невероятно короткое время невероятно разбогател и сумел приумножить свое невероятное богатство. Поэтому его дочь Клэр унаследовала от милого папочки дворец на Рингштрассе, конфискованную в пользу истинных арийцев еврейскую собственность.

Но этот дом не принес ей счастья. Ни ей, ни Францу, ни другим — никому из тех, кто жил в этой квартире на улице Штубенринг. Например, у Франца была сестра, позднее вступившая в коммуну Отто Мюля,[9] чтобы отречься от своих предков и коричневого прошлого родителей. Она всегда стыдилась этого дома, родителей тоже и демонстративно с ними порвала. Позднее она присоединилась к одной коммуне в Берлине, потом к другой — на Ланзароте,[10] а потом, когда ей было под тридцать, бросилась с противовоздушной башни в Третьем округе Вены и теперь лежит в фамильном склепе в Гринцинге[11], рядом с Томасом Бернхардом[12], совсем рядом.

Напротив, избранный Францем способ скрываться от мира, в который он, несомненно, однажды пришел, заключался в том, что он снова и снова покидал его во сне.

Мать реагировала на мир, обвиняя его во лжи, Франц реагировал на мир, засыпая.

Ее, свою мать Клэр, Франц всегда мог расслышать поблизости, у себя в детской, да и за пределами детской тоже. А от *него* не доносилось ни звука. Трудно было сказать, не ушел ли *он* куда-нибудь в своей майке в мелкий рубчик. Но если Франц Иосиф действительно был в спальне, то жил и лежал рядом со своей женой, которую со дня свадьбы просто возненавидел. Вероятно, *он* еще в первую брачную ночь искал способы от нее убежать, лежа не столько на ней, сколько рядом с ней и то и дело попадая не туда (а ведь позднее станет охотиться на крупную дичь), словно охотится на зайца и должен следить за тем, как петляет и скачет его жертва, при том что она лежала безучастно, и вправду немножко похожая на кролика, но на кролика перед удавом, словно это не первая брачная ночь, а конец. А за этим последовала пытка длиною в жизнь.

В его случае все больше напоминало гимнастическое упражнение «упор лежа», он потел, не снял майку, лицо у него покраснело. К счастью, этого нельзя было заметить, потому что в эту брачную ночь действительно была ночь. Тогдашние представления о правилах приличия предписывали выключать свет в спальне новобрачных. Какое облегчение, самым приятным в этом процессе оказалось то, что они были избавлены от необходимости смотреть друг другу в глаза.

Вероятно, двигаясь туда-сюда и нисколько не ощущая ритм этой ночи, он мысленно снова сочинял объявления — «познакомлюсь с…», пока наконец, забывшись подобным смерти сном, не проспал остаток первой брачной ночи. И с ней, наверное, было то же самое: она тоже сочиняла в первую брачную ночь объявления — «познакомлюсь с…», подумывала, как бы от него

сбежать, и — тщетно, как в конце концов выяснилось, — жаждала избавиться от того, кто в нее проникал. А когда он вскоре захрапел рядом с ней, она впервые громко произнесла: «Врет!»

В ту пору он уже был знаменитым специалистом по вскрытиям, иными словами, патологоанатомом, добрых пятидесяти лет от роду. Тем не менее он то и дело занимался живыми, хотя и не снимая в процессе майки или футболки; то и дело сближался с людьми, которые еще жили или думали, что живут, или даже думали, что у них впереди — вся жизнь. Он всю свою жизнь занимался покойниками, однако стремился понравиться живым и даже включил слово «любовь» в свой активный словарный запас, короче говоря, всю жизнь считал себя знатоком людей и хорошим любовником, хотя на деле лучше умел обращаться с человеком как с неживой материей и в живых мало что смыслил, а в женщинах совсем ничего, и, как выразилась бы тетушка Мауси, правда, по другому поводу — о садоводстве: «В этом деле был не мастер». Даже газон не сумел бы привести в порядок. Садовник Пётчке выразился бы еще определеннее: «Ежели уж вы и руки к садику не приложили, откуда цветочкам-то взяться?»

Поэтому стоит ли удивляться, что Франц, первенец, несмотря на мезальянс, ставший следствием этой ночи, с самого начала хотел бежать? С момента зачатия бежать от тех, кто его зачал. Наиболее благоприятную дату свадьбы определил астролог Клэр. Она говорила, что хочет покончить с этим как можно быстрее, и смирилась с судьбой в лице Франца Иосифа, а почему, собственно, она остановила свой выбор на нем? Это она сохранила в тайне. Ока же не хотела, чтобы он ее опекал! Да и комплексом Электры явно не страдала. Тем не менее Клэр была на двадцать лет моложе Франца Иосифа.

Его родители тоже хотели бежать друг от друга, еще когда его зачинали. Мать меньше всего хотела в этом участвовать, больше всего она мечтала оказаться где-нибудь подальше, на горном перевале Земмеринг, в Венском лесу или в Пратере, да и отец стал подумывать о бегстве, предчувствуя с первой брачной ночи, как безрадостно Клэр будет исполнять супружеские обязанности. Они предпочли бы очутиться где угодно, только не там, где оставались наедине друг с другом, словно она не хотела ребенка, словно ребенок — досадная помеха, шуточка, небольшое недоразумение, в придачу к недоразумению покрупнее, небольшое недоразумение, что появится на свет ровно через девять месяцев после этой ночи, и ночь не прекращалась ни днем ни ночью.

Вскоре ему тоже захотелось бежать от них подальше. Но

сначала ему все-таки пришлось выйти наружу, и вспышка света ослепила его, как выходящего на сцену актера. Сначала, как в драме, истинные страдания были неотличимы от театральных вскриков, а потом, когда он наконец появился на свет, ему еще и имя дали. Его имя Франц Иосиф звучало пышно и торжественно, но на самом деле было всего-навсего именем какого-то мужчины, его отца, человека, который ложился спать в майке, а воскресным утром, читая в постели газету «Прессе», не желал, чтобы его беспокоили. Это было все, что он знал об этом человеке. Больше он, собственно, ничего о нем и не узнал. Вот разве только, что он врет. С другой стороны, как мог вечно врать человек, о котором он почти ничего не знал?

Поэтому еще больше, чем исчезнуть, Францу хотелось стать невидимкой. Он часто закрывал глаза, как поступают дети, верящие, что так превращаются в невидимок, и думал, что теперь-то он спасся от этого монстра в майке в мелкий рубчик, не желающего, чтобы его беспокоили, словно Франц (от «Иосифа» Клэр скоро отказалась) не его сын, а насекомое, докучающее воскресным утром, насекомое, которое, к сожалению, приходится терпеть, как этих гадких мух… Черепаха была его идеалом и символом детских мечтаний: вот исчезнуть бы так же, спрятаться где-нибудь, уйти куда-нибудь с головой. Очутиться где угодно, только не здесь. Это у него осталось навсегда. Когда он вырос, он тоже иногда закрывал глаза и мечтал. Да и голову ему тоже хотелось втянуть. Вроде Макса. До конца.

2

Между тем Францу исполнилось двенадцать лет, а черепаха все еще была жива. Почти целую жизнь она прожила рядом с ним.

Подошло время сдавать нормативы по плаванию вольным стилем. Поэтому Франц и его закадычный друг Майк договорились, что черепашка Макс будет пловцом вольным стилем. Франц и Майк не могли взять черепашку в купальню на Дунае. Поэтому для испытаний они выбрали ванную в доме Франца. Там можно было играть и в другие игры, в которые в купальне не поиграешь. Максу предстояло проплыть за пятнадцать минут дистанцию вольным стилем, а потом совершить прыжок, входя головой в воду с метрового трамплина. Зачет по плаванию проходил в большой, красивой ванне родительской ванной комнаты, которой почти никто не пользовался и которая стала чем-то вроде второй детской. Во время заплыва суша находилась в поле зрения Макса, но он никак

не мог до нее добраться, а тем более на нее вскарабкаться, пол ведь совсем скользкий, а потом еще эти скругленные стенки, — целых пятнадцать минут мучиться. Что в это время происходило в душе у Макса, лучше не знать, и Макс испытывал благодарность за то, что это осталось тайной, как и многое другое. Ведь люди смягчают остроту большинства трагических событий, даже невыносимой, страшной смерти и конца света, прибегая к эпитету «естественный».

Прыжок с метровой высоты, возможно, представлял собой пример жестокого обращения с животными, но так проявлялась любовь Франца к Максу. К ней примешивалось немножко садизма, детского, ребяческого, — такова любовь, ничего не поделаешь. Франц подал Майку знак, тот разжал руку, и менее чем за две секунды Макс в свободном падении долетел до воды из точно намеченного места, примерно на высоте помутневшего от времени, потускневшего зеркала с Мурано, на стеклянной полочке перед которым Макс дожидался начала испытаний. Потом, когда Макс получал награду на пьедестале почета, картонной коробке из-под обуви, Франц произнес небольшую речь, очень понравившуюся Майку, и был убежден, что Макс тоже все понимает. В заключение он канцелярскими кнопками приколол один значок «Сдавшему нормативы по плаванию вольным стилем» на черепаший ящик, а другой тут же наклеил универсальным клеем прямо на черепаший панцирь. Его бабушка Ева Бенедетти происходила из династии производителей универсального клея. В детстве Франц на каждый день рождения получал от нее так называемые промышленные тюбики универсального клея, и именно клей составлял основу всех его игр. Слова «защита окружающей среды» тогда, к счастью, были еще не в ходу, все то и дело твердили только о «защите прав человека».

Пусть Франц обращался с черепахой довольно жестоко, он все-таки ее любил. Но однажды черепаха исчезла, и кто-то целую ночь проплакал. Может быть, она и сейчас жива. Ведь черепахи доживают до глубокой старости, хотя повидать на своем веку успевают немного.

Франц всегда думал, что Макс приплыл с Кубы и по национальности кубинец. Его ассистент поднял кубинский флаг, нарисованный Францем на тряпке, а флагшток из рукоятки швабры величественно возвышался посреди ванной комнаты на постаменте из ведра. На панцире Макса рядом со значком «Сдавшему нормативы по плаванию вольным стилем» красовался маленький кубинский флаг, вырезанный из большого Брокгауза. Если бы Франц Иосиф это заметил, он задушил бы своего

первенца от брака с Клэр. В этом Франц был твердо убежден.

Кубинский флаг был еще старый, без звезды в центре. Но иногда Макс становился танком в бою с армией США. Чем только не был. Но чаще всего Макс воплощал тоску Франца по миру, не похожему на его собственный.

Больше всего Францу хотелось бы превратиться в черепаху и оказаться где-нибудь в совсем другом месте, куда и самой черепахе, может быть, тоже хотелось попасть, — вот если бы только он мог ее об этом спросить… Лучше всего на море, на каком-нибудь острове вроде Кубы.

Иногда ему больше всего хотелось превратиться в девочку.

В это время Франц сам сдал один за другим нормативы по плаванию вольным стилем, по комплексному плаванию разными стилями и по спасению утопающих и стал носить соответствующие значки на купальных трусиках.

С самого начала он хотел так далеко уплыть, так глубоко нырнуть и так крепко заснуть, чтобы никто никогда не смог до него добраться.

Тем не менее он иногда надевал купальные трусики и, сам того не замечая, жил в гармонии с окружающим миром.

Во время сдачи нормативов по плаванию вольным стилем они с Майком ложились в супружескую постель его родителей и играли в мужа и жену. Францу уже исполнилось лет тринадцать-четырнадцать, и он вполне мог сыграть женщину. Он демонстрировал, как ссорятся его родители, исполнял роль матери и так громко кричал: «Врет!» — что родители могли бы услышать, но их почти никогда не было дома. Он кричал и вопил, словно это все игрушки.

И Майк в конце концов чуть не умер со смеху и откинулся на подушки. А потом Майк набросился на Франца, словно Франц — маленький, забавный песик. Словно они просто играют.

Майк учил Франца плавать комплексным стилем и помогал ему, снова и снова сталкивая его в воду. Может быть, потому, что любил его. Он сталкивал Франца в воду, словно Франц — всего-навсего тело, но вместе с тем прикасался и к его душе, которой было наделено это тело и которая показывалась на мгновение, например, когда Франц улыбался. Или когда он пристально смотрел на что-нибудь. В такие мгновения каждая черточка его лица говорила о том, что у него есть душа, что она просто есть, что она существует.

Последними были тренировки по спасению утопающих, а значит, нужно было дышать изо рта в рот, притворяться мертвым, держать друг друга в объятиях и все такое. В промежутках между тренировками — или до них? — они целое лето пролежали в

дальнем углу купальни со своими первыми неприкаянными эрекциями. Может быть, они только потому и записались на плавание? Они валялись на вылинявшем полотенце, таком узеньком и коротеньком, что с трудом на нем помещались, ногам и рукам уже не хватало места, и они лежали на траве, как в постели, в отдаленной части купальни, за соснами, куда не заглядывал тренер. Францу то и дело приходилось прыгать в воду или переворачиваться на живот — как некстати эти глупые эрекции, ненужные движения органа, стремящегося от него прочь, словно убежать хочет и он тоже. Словно некоторые части его тела хотят от него убежать и уже собираются в путь, прямо с утра, стоит ему проснуться. Тогда он, очевидно, впервые почувствовал, что живет не вовремя и не на своем месте, — а потом жить будет поздно.

К этим ощущениям позднего послевоенного ребенка все еще примешивалась боязнь войны, снова и снова рвались бомбы, и он снова и снова просыпался. И это при том, что Вену уже отстроили заново и она вновь засияла в прежнем блеске. Он жил в красивых домах, сплошь набитых людьми, от которых он унаследовал этот страх и что-то вроде шизофрении, раздвоения личности, словно одной жизни и одного сознания ему не хватит. Словно этому страху способны противостоять лишь две жизни и два сознания. Словно *одной* жизни и *одному* сознанию этот страх не преодолеть. У его бабушки и дедушки был охотничий домик в Глоггнице[13] — слово-то какое трудное, просто пригибало его к земле.

И все-таки эта жизнь была прекраснее всего на свете. Значит, немного полотенца доставалось только животу, бедрам и купальным трусикам, словно они — самое важное во Франце. Голова и ноги не помещались, да к тому же были более всего удалены от особо привилегированных мест на полотенце, от всего, что казалось таким важным и не давало заснуть по ночам, и просто лежали на траве. Франц и Майк были уже достаточно взрослыми, чтобы понести наказание, в чем бы оно ни выражалось: в угрызениях совести или первой несчастной любви.

Его родители ссорились до конца, летом в горах, на перевале Земмеринг, зимой в центре Вены, на Рингштрассе. Они никогда не расставались, пока смерть не положила конец их ссорам.

Или могла бы положить конец ссорам, поскольку Клэр и после смерти Франца Иосифа ночами вопила: «Врет!» — в надежде, что он услышит ее в аду. И только его позорная смерть в Санкт-Пёльтене доставила ей небольшое удовлетворение, несколько смягчившее ее посмертные проклятия, и одновременно стала поводом ввернуть в разговор: «У мужа-то случился инфаркт… В магазине „Гигиена брака"…» Исключительно ради

Франца Иосифа она страстно желала, чтобы ад все-таки существовал. Но психоанализ, которым она заинтересовалась после смерти мужа, как раз таки и учил, что этот ад существует лишь в одном месте, а именно находится там же, где и *она,* в постели, где она и раньше лежала и где теперь вопила: «Врет!» — хотя ее никто не слышал. Психоанализ убедил ее в том, что она, ее жизнь и ад — неразделимы.

Когда его матери, красавице, было под сорок, он по пуговицам на ее жилетах от Шанель научился считать, а по этим *двоим,* ставшим в нем злосчастной *единой* плотью, — складывать и вычитать. «Один плюс один — два», — гласил самый простой пример на сложение. Но он не мог в это поверить. Подобный метод сложения противоречил его наблюдениям: двойка ведь меньше единицы. Два — это ничто, ничто или меньше нуля. Однако ему пришлось столкнуться с кое-чем похуже — с вечно живым, неумирающим несчастьем. Где двое, там холодность, отстраненность и раздор, — так он стал думать задолго до того, как впервые услышал слово «шизофрения», знать которое ему было еще рано.

Его шизофрения, его двойная жизнь, ведь то, что в голове, живет своей жизнью, а то, что в штанах, — своей, и расстояние между ними иногда оказывалось таким малым, что его и расстоянием нельзя было назвать. А иногда их разделял целый мир. Где двое, там холодность, отстраненность, раздор, а еще подозрение, что мужчина и женщина не подходят друг другу, — он об этом еще в детстве догадывался, глядя на своих родителей. Бедный ребенок! Из всех католических догматов, начиная с сотворения человека из праха земного, а впоследствии Евы из ребра Адама (вот если бы наоборот, то в этом была бы еще хоть какая-то логика), догмат о сотворении мужчины и женщины и основанный на нем догмат о нерасторжимости брака казались ему самыми загадочными. Его родители не подходили друг другу, как Адам и Ева, ведь его мать была красива, чего об отце никак не скажешь. Она была так красива, что уроды вроде его отца на улице оборачивались. А что еще можно сказать про этого человека, Франц не знал. Разве только, что он все врет. И что тогда он — сын вруна. И что он не хочет стать таким, как тот, кто, кажется, и говорить-то почти не умеет, а если говорит что-нибудь, то отворачивается и обращается к пустоте, словно их здесь и в помине нет, и всю жизнь лжет. «Он же ходячая ложь, — говорила мать, женщина неглупая, но строящая свое представление об этом человеке на основе нескольких элементарных формулировок. — Вечно помалкивает, живет во лжи, всей своей лживой жизнью учит сына лгать».

Так пыталась отвлеченно представить жизнь лжеца мать Франца, запоем читавшая Томаса Бернхарда, над романами которого, начиная со «Стужи» и кончая последней книгой «На вершине. Безнадежность, вздор», она просиживала в постели ночи-длиною-в — жизнь. Самые важные места она всегда читала мужу вслух, чтобы помучить и не дать заснуть. В конце концов книги этого автора перестали выходить. В один прекрасный день они кончились, и тогда она стала перечитывать Бернхарда заново и так читала и читала, пока ее не поместили в самый дорогой дом для престарелых в Австрии. Франц считал, что эти повторяемые в сто первый раз пассажи, в которых особенно ярко самоутверждается автор, великолепны, а впервые побывав в театре, стал еще и путать обрывки фраз, доносящиеся из спальни, с репликами великой трагической актрисы на сцене. Вена ведь была театральным городом, просто воплощением театрального города, а театр, собственно говоря, начинается с жизни, уверяла его несчастная прекрасная мать. Франц думал, что театр — предшественник всякой жизни. Разве он не пришел в мир, который еще до его рождения был театром?

Он часто слышал, как горько мать раскаивается в том, что совершила *тот шаг,* который, в конечном счете, и привел к появлению на свет его, Франца. Но Франц любил мать; поначалу он больше ничего не любил, вот разве что засыпать. А еще любил материнское молоко, это ведь чудо, о котором лучше не раздумывать. Франц так никогда и не привык к мысли, что однажды днем, а может быть, и ночью его напоили этим молоком в последний раз. Но потом все кончилось, и отныне он жил сам по себе. Теперь у него появилось сознание и ему приходилось повторять: «Я живу». Так называлось это совместное предприятие, состоявшее из того, что в голове, в сердце и в штанах.

Он любил эту первую в своей жизни женщину, хотя она вместе с лжецом могла бы испортить ему все детство, которое было не похоже на обычное детство, ведь Франца до срока заставили заглянуть в мир взрослых и разучить жизненную драму. Без этих ночных материнских монологов он не мог обойтись, они были ему необходимы, как звон колоколов собора святого Стефана[14], и куда больше, чем звон «бухающего колокола»[15], раздающийся только раз в году. А Клэр, еще не открывшая для себя Томаса Бернхарда, главное событие своей жизни, сидела в постели, читала «Колокола святого Антона»[16] и сравнивала свою судьбу с судьбами главных героев этого давно забытого любовного романа.

Он любил ее, и она тоже его любила, хотя лишь наполовину. Ведь Франц только на пятьдесят процентов был ею; в другой его

половине она не могла не узнать Франца Иосифа. Себя саму она любила на все сто процентов, но совершенно неразделенной любовью.

На Франца обращали внимание, он все хорошел, глаза у него были глубокие, он взрослел, и близился день, когда он выпорхнет из родительского гнезда. Брак родителей казался ему болезнью, которую они могут передать ему по наследству.

Иногда у нее случались кошмары, и она страшно кричала во сне, и Франц просыпался от ее криков. Любое супружество со временем превращалось во что-то мрачное и страшное, так было со времен Адама и Евы. Ровно столько он знал о браке. Иногда она его поколачивала, да и Францу Иосифу от нее доставалось. Возможно, еще Еве следовало лупить Адама. Адам, наверное, был трусом. Франца Иосифа она колотила туфлей, и, собственно, так они и общались, сходясь в постели. Одна била, другой получал тумаки — вот что спасало их брак и даже предотвращало худшее, хотя, возможно, худшее было бы совсем не так уж плохо.

Она то и дело его лупила, и лицо ее при этом — кто бы мог подумать — делалось похоже на морду пираньи, а он — кто бы мог подумать — завел себе уйму любовниц, купил автомобильный фургончик и повсюду в нем разъезжал с соответствующей целью. Автомобильный фургончик Франц Иосиф завел еще холостяком. Хотя Клэр ни разу не переступила порог «этой передвижной осеменительной станции», как она называла и мужа, и его автомобиль, она точно знала, что там внутри. Внутри там были разбросаны щетки для расчесывания волос на лобке, маскирующие карандаши, нейлоновые чулки и маленькие дамские трусики, предшественники трусиков-танга из ажурного шелка, появившихся позже, значительно позже, незадолго до того, как рухнул мир, его мир, внезапно взорвавшийся, как бомба, вот именно, когда он умер от разрыва сердца. Над ветровым стеклом этой машины следовало бы повесить красный люминесцирующий фонарик, но его украшали только значок австрийского клуба автолюбителей и святой Христофор.

На последнем балу в опере они еще заказали ложу, и Клэр, благосклонным кивком приветствуя всех знакомых, с великосветской, габсбургской улыбкой повторяла: «Я так рррада!» — и посылала воздушные поцелуи. Держа мужа под руку, в платье со шлейфом, она поднималась по главной лестнице, улыбаясь, словно путешествует с возлюбленным, а сама она — трофей победителя.

О разводе она и не помышляла, поскольку не собиралась обеспечивать ему спокойную жизнь, а он не мог развестись,

поскольку был почетным членом Папской академии наук святого Лазаря и кавалером католического ордена Святого Гроба Господня, а для кавалеров католических орденов «развод совершенно исключен».

Когда Франц в один прекрасный день навсегда ушел из дому, они всё продолжали ссориться, хотя отныне у них было на два слушателя меньше: черепаха тоже исчезла.

Ему приходилось следить за тем, чтобы не слишком много прошлого закрадывалось в его настоящее.

3

Еще в начальной школе они распевали пиратские песни, подумать только, в Вене-то.

Плывем по синим мы волнам, уж дома не увидеть нам… Тра-ля, ля-ля, ля-ля.

О Кубе и море он мечтал с детства. А в Фельдкирхе[17] намного приблизился к своей мечте. По крайней мере на целый час полета. Оттуда лететь до нее оставалось всего десять часов.

Все школьные годы они распевали песни о море, потому ли, что Австрия так далеко от моря, потому ли, что так выражалась их тоска по утраченному морю, которого, как до последних дней утверждала его бабушка, после поражения в Великой войне у Австрии больше нет. То, что они утратили море, только усугубляло мировую скорбь, втайне омрачавшую прекраснейшие застольные песни, в которых прославлялись вино, любовь и смерть, ведь у них отняли море, их родину. Поэтому они и распевали по всей Австрии пиратские песни, начиная с детского сада и кончая экзаменами на аттестат зрелости, в том числе и в католических средних школах, например в школе благочестивых сестер святой Лиобы. Францу нравилось ходить в школу сестер святой Лиобы. Имя Лиоба происходит от слова «любовь». Это была смешанная школа для мальчиков и девочек, тогда такое встречалось редко.

Там, у благочестивых сестер святой Лиобы, Франц Маринелли в конце концов и очутился, причем совершенно добровольно. Майк тоже туда поступил и теперь сидел с ним за одной партой. Францу отчаянно хотелось бежать из родительских домов и квартир, чтобы не слышать каждую ночь пьесу о том, кто все время врет. Выслушивать ее исполнение ему теперь приходилось только на каникулах, которые были вовсе не каникулами, а возвращением — ненадолго — в семейную тюрьму. Франц поступил в самую дешевую частную закрытую школу во

всей Австрии, уж это Франц Иосиф предварительно выяснил; его вполне устраивало, что у него на шее теперь одним дармоедом меньше. В конце концов Франц получил в этой школе почетное бесплатное место, так как его отец был кавалером католического ордена Святого Гроба Господня.

Может быть, все его тогдашние несчастья — оттого, что Вена не на море.

В имени Франца Маринелли шумело море. На самом же деле он находился не на море, а среди людей, распевавших пиратские песни.

Распевая в школе пиратские песни, он жил своей мечтой. Вот только он не пират, а море, о котором он мечтал, — не серое. Францу нравилось учиться в школе: все лучше, чем окунуться в жизнь, которой он боялся, словно уже попробовал ее на вкус.

Уж дома не увидеть нам. Тра-ля, ля-ля, ля-ля.

Позднее они с Майком останутся единственными на свете, кто еще помнил эту песню. Так им наперед прививали тоску по родине. Воспитанные в преддверии жизни, которая будет такой, какой была всегда, они до последнего распевали о ней песни. Например, в школе им говорили то же, что повторяли дома, когда он ругался с сестрой и она выкручивала ему руки, а он таскал ее за волосы, — что нельзя вечно ссориться. В школе им твердили, что они надолго разлучены и еще не скоро встретятся. Это часто повторяемое изречение чрезвычайно напоминало альбомную мудрость, сочиненную учительницей рукоделия в девятнадцатом веке, когда еще существовали корабли эмигрантов, выходившие из портов Бремерхафена, Гамбурга, Генуи и Триеста, чтобы никогда более не возвращаться. На корабле с ними плыл багаж на всю жизнь, а истинной святыней в нем был альбом, куда друзья и близкие записывали стихи на память. В ту пору даже фотографий еще не было, только коротенькие, написанные кроваво-красными чернилами стишки, а к ним букетики розочек, — наклеишь в альбом, и получится красиво, как настоящий натюрморт. В ту пору существовали лишь письма, тоска по родине и письма о тоске по родине.

Можно было писать друг другу о чем угодно.

Он же не знал, где окажутся другие, будут ли они еще живы или уже умрут в один прекрасный день в Мюрццушлаге или, может быть, в Гарстене, прямо возле сумасшедшего дома или, может быть, даже внутри. Или будут жить, пораженные неизлечимой болезнью, с нелюбимым человеком, пусть даже во дворце на Рингштрассе, еще при жизни забыв все, что и так прошло, и больше ничего не будут сознавать, даже того, что пока еще живы. Единственное, чем они будут отличаться от пациентов

в коме, так это тем, что еще ходят, до тех пор пока совсем «не уйдут от нас», как пишут в некрологах, навсегда, неминуемо, неизбежно. Пока неизбежно не уйдут, сами того не заметив. Но что они узрели — может быть, голубые цветы, тамариски, — навеки пребудет тайной, правда?

Франц был ростом примерно с *ирис,* когда впервые захотел умереть.

В отличие от большинства самоубийц, которые в течение всей жизни о смерти и не помышляют, а потом в один прекрасный день бросаются под поезд, просто так, повинуясь мгновенному настроению, он, начиная с тех самых венских ночей, да и дней, свел со смертью знакомство накоротке, точно с кем-то, в ком можешь быть уверен, в ком нельзя сомневаться, на кого всегда можно положиться. Словно смерть и страх смерти — его спутники жизни, более того, его вторая жизнь, которую он незаметно проживал помимо первой. Словно страх смерти — его второе «я», жившее в нем помимо первого.

4

Ни о чем этом не имел представления главный патологоанатом Гаваны, в обязанности которого входило главным образом вскрывать тела казненных и ликвидированных без суда и следствия, чтобы выдавать им чистенькие, не подкопаешься, свидетельства о смерти, например: «Погиб в результате несчастного случая» или «Убит сокамерниками».

Даже личность покойного пока не установили. Ему пришлось обследовать труп, на большом пальце ноги которого висела табличка «неизвестный мужчина, примерно сорока лет», такая же, как на большом пальце ноги у мертвеца в Санкт-Пёльтене.

Там, в Австрии, его коллега-патологоанатом, о существовании которого он даже не подозревал, снял эту табличку со ступни своего предшественника. Патологоанатом наслаждался возможностью вскрыть и снова зашить своего предшественника на этой должности и определить, что с ним произошло и отчего он умер.

Вот что случилось тогда в Санкт-Пёльтене: покойника нашли в кабинке секс-шопа, а в бумажнике у него — монеты, которые он собирался бросить в прорезь автомата, номера телефонов и несколько моментальных снимков. К счастью, вдова покойного так и не узнала о том, что ее сын тоже однажды оказался на столе в анатомическом театре, вот только позже и на другом континенте, но в остальном… Так в нем повторилась эта смерть,

и до последнего головы отца и сына были забиты этими шлюхами, а бумажники набиты фотографиями этих шлюх. Пусть даже четверть века спустя, но нашлось что-то, что связывало отца и сына, которых при жизни почти ничто не связывало. Ей еще могли это передать. Она жила в самом роскошном доме для престарелых и в тот день, когда ее сын лежал на столе в анатомическом театре, напевала «Вот и птичка прилетела…», но чаще всего молча, безучастно сидела в любое время суток между клеткой с птичками и аквариумом.

Господин главный патологоанатом в старости испытывал жалкий, постыдный страх перед СПИДом, полагая себя существом весьма ценным и неординарным, — в том возрасте, когда человек с нежной душой давно уже успевает умереть, не выдержав груза прожитых лет. Когда-то потеряв при бомбежке все имущество, он по чистой случайности пережил войну и кое-как прожил долгую жизнь, но теперь он, бедняга, боялся позорной заразной болезни и поэтому всегда носил в кармане бумажную салфетку, которую подкладывал на стульчак, уйму одноразовых платков и даже резиновую перчатку. Он, как дитя, которое еще не знает, откуда берутся дети, думал, что вот дотронется до чего-нибудь, и умрет. Вот как он, патологоанатом, себя вел. Он ничего не знал о жизни и даже о смерти не имел представления. Но боялся ее. И это при том, что ему давно пора было умереть; некрологи на доске объявлений страховой компании свидетельствовали о том, что его ровесники один за другим уходят. Как же он каждое утро ускользал с портфелем под мышкой!.. Как вежливо он здоровался с соседками, неизменно снимая шляпу! Как он стоял перед ними со шляпой в руке! Как он повсюду носил с собой зонтик на случай дождя! Клэр была права — все мужчины трусы, начиная с Адама…

Значит, этот санкт-пёльтенский покойник был не кем иным, как отцом Франца, главным патологоанатомом, который жил несколькими жизнями одновременно, проживая их не параллельно, а последовательно: сначала в супружеской постели Клэр, обзываемый лжецом и импотентом. Далее следовало многочасовое вскрытие трупов в аудитории, обдумывание подробностей тайных свиданий, решение проблем материально-технического обеспечения тыла двойной и тройной жизни. Далее он занимался автомобильным фургончиком, который специально для этой цели завел задолго до женитьбы на Клэр, и подыскивал подходящие стоянки в зависимости от сезона.

Поездка по Венскому лесу в качестве прелюдии: в течение одного охотничьего сезона это была Рози, его студентка, под конец знавшая уже каждую парковку между Мюльфиртелем и

Бургенландом, а кроме того, всю терминологию охоты, язык охотников, основу которого составляли понятия, касающиеся половой жизни зверя, проще говоря спаривания. Иногда Франц Иосиф в своем передвижном фургончике намеренно употреблял по отношению к Рози словечки, уместные в разговоре о свиньях. «Мы ведем ночной образ жизни, как эти кабаны», — думал он. И на протяжении всей жизни считал себя, свои выходы на жизненную сцену и свои переживания в вагончике первого поколения чем-то совершенно особенным и неповторимым.

Единственное, что теперь у него оставалось, — это замочная скважина, за которой разыгрывалась жизнь. А он, не в силах попасть внутрь, похотливо замирал за дверью. И вот отец Франца, знаменитый патологоанатом, был найден в злачном месте в Санкт — Пёльтене, а Франц на пляже под Гаваной.

Франц Иосиф умирал в несколько заходов. Однажды он уже потерял сознание, заглядывая сквозь пластины жалюзи на окне порносалона в Винер-Нойштадте, но, к счастью, рухнул перед дверью, а не в темном помещении, набитом надувными куклами. Однако на этот раз он несколько часов просидел незамеченным, безжизненно поникнувший, мертвый, подобно тому как лежат в университетском анатомическом театре перед двумя мониторами с увеличительным экраном его трупы. Фильм давно закончился. Не исключено, что его еще можно было спасти. Но его нашли в этой дыре только через несколько часов, обругали: «вот свинья», — они ведь не знали, кто это, но полагали, что вытаскивают из кабинки свинью вроде них самих; они ведь не знали, что удар хватил не обычную свинью, а главного патологоанатома, который наслаждался заслуженным отдыхом, разъезжая по Винер-Нойштадту, Братиславе и Санкт-Пёльтену. В кабинке было тесно, там как следует и грохнуться-то нельзя, сидишь, как за рулем машины, пристегнутый ремнем безопасности. Это произошло спустя три года после того, как он ушел в отставку. И он оказался в анатомическом театре, и смерть его была позорной: его привезли из порносалона и положили в холодильник как неопознанного покойника, пока преемник на должности патологоанатома все — таки не опознал его, подойдя поближе с ножом для вскрытия.

А жена встретила его смерть с ликованием и, когда ее вызвали на опознание в зал анатомического театра, произнесла: «Он, а кто же еще!» и «Все врал!» — так громко и отчетливо, что это больше походило на крик, и его расслышали все присутствующие, в том числе администратор и младший прозектор, подвозивший трупы в публичный зал анатомического театра на специальной тележке, и в наказание завещала его труп

науке, чтобы на нем практиковались студенты-медики, а найденные в его бумажнике фотографии и номера телефонов девушек по вызову из последнего номера «Курьера» — то, в чем и заключался подлинный смысл его жизни, оставила себе на память и еще раз так громко, что все, кроме него, могли ее расслышать, выкрикнула: «Вот грязная свинья!» — сойдясь во мнении с миром и его младшими прозекторами.

5

За сутки до того, как его отец был найден мертвым в кабинке магазина «Гигиена брака» в Санкт-Пёльтене, Франц ночью ехал в спальном вагоне в Венецию. Теперь он был студент двадцати одного года от роду и подрабатывал на каникулах помощником проводника, — еще и для того, чтобы не оставаться дома. Из дому он стремился убежать как можно скорее, а когда вспоминал, о чем именно говорил с отцом за всю жизнь, то оказывалось, что их беседы поместились бы на десяти, максимум двадцати страницах формата А-4 по германскому промышленному стандарту. Все разговоры вращались практически только вокруг денег, которые детям якобы не положены. Годами он должен был выслушивать, как дорого обходится родителям, словно он — домашнее животное, содержать которое весьма накладно. Но, к счастью, существовала еще мать, у нее был собственный капитал, и за спиной Франца Иосифа она иногда подбрасывала ему денег. В высшем обществе Вены она считалась состоятельной, хотя не очень-то умело распоряжалась своим состоянием. Напротив, Франц Иосиф был одним из самых скупых людей, которых когда-либо видела Вена.

Вместе с Францем в поезде ехала его подруга. Андреа. С соседней парты в последнем ряду.

Впервые в жизни он ехал в ночь с женщиной, которую тайком провел в свое служебное купе. Было холодно. Они просто окоченели. Выяснилось, что путешествовать им предстоит несколько дней. Однако у них были звезды, такие же, как дома. И вдруг он осознал, что Андреа, натуральная она блондинка или нет, бог весть, лежит перед ним совершенно обнаженная. Душе пригрезилось сиянье лепестков, миндаль в цвету, форзиций блеск на солнце…[18] Они тут же превратились в детей, словно оказались в джунглях Новой Гвинеи, и набросились друг на друга, будто хотели друг друга съесть. Новая Гвинея — так красиво звучит, шесть гласных, такой музыкальный народ, вроде австрийцев, вот только людоеды. Они были юны и спрятались от

мира, укрывшись полотенцем, а в мире порхало множество бабочек-лимонниц, неотличимых от лепестков чайных роз.

А потом Венеция — целую неделю они не разлучались ни днем ни ночью: сначала два дня *в Венеции, этом воплощении музыки,*[19] со своей разделенной любовью и в своей разделенной любви, а потом путешествовали автостопом по Италии. Было очень красиво. А как здорово она бросила невкусную пиццу под стол в полутемном убогом кафе. Он бы никогда на такое не отважился. И так ловко тащить все, что угодно, из дешевых супермаркетов он бы тоже не смог.

Ему в ту пору, то есть не *сначала,* а *«вначале* было»[20] свойственно тяготение исключительно к женщинам, шокировавшим и возбуждавшим его подобным поведением. А еще он любил женщин, которые любят его меньше, чем он их. Он любил их потому, что и сам больше всего хотел бы вести себя как они, и завидовал им, а ведь зависть, в конце концов, — высшая форма признания.

Но его подруги, начиная с первых, потому относились к нему без уважения, что, по их словам, ему «кое на что духу не хватало». Он всегда сразу же засыпал. Он то и дело засыпал, когда занимался с ними любовью.

До сих пор. Он не мог и не хотел себе это объяснить и ни разу не обращался по этому поводу к психиатру. Все его женщины пытались отправить его к психиатру. Как следует поразмыслив, он пришел к выводу, что это единственное, что объединяет всех его женщин. Впрочем, они были правы.

Но позднее ему иногда хотелось, чтобы другие узнали, кем он стал. Его подруги, даже его отец. Пускай он до сих пор краснел и засыпал, но краснел и засыпал так, что залюбуешься. И еще: он научился так смеяться над своей застенчивостью, что другие смеялись вместе с ним, словно это не он, а кто-то другой.

Женщинам он нравился, он ведь их всегда так чудно развлекал, если не сразу засыпал; его поведение их забавляло, они могли над ним посмеяться, и он никогда не заставлял их плакать, да и мужчинам он казался забавным.

Потом никто и поверить не сможет, каким неуклюжим и неловким он был в этой жизни. Вначале, когда любовь еще была для него чудовищем, от которого замирает сердце, он не мог смеяться. Если ты влюблен, тебе не до смеха. «Чем ближе так называемый оргазм, тем убедительнее об этом свидетельствуют лица», — думал будущий фотограф. Если бы ему пришлось их снимать, то явно не для альбома «Счастье». Любовь, чем ближе ты к ней, тем серьезнее, серьезнее не бывает.

Но скоро он стряхнет с себя любовь и сможет над ней

посмеяться. Она надолго перестанет быть тем, от чего замирает сердце. А станет чем-то привычным, вроде супа или хот-дога.

Франц был и навсегда остался великодушным, всегда горячо желал помочь ближнему, и поэтому его не принимали всерьез именно те, кому он хотел помочь, например Андреа: однажды, еще в школе, он оставил для нее перевод с латыни в туалете девочек, а она только посмеялась, вместо того чтобы поблагодарить.

Франц во время этого зачета боролся со сном, а оставив перевод для Андреа в туалете девочек, и в самом деле заснул и потому едва не забыл сдать свою собственную работу, которую написал за пятнадцать минут, если бы его не разбудил добрый преподаватель латыни, коротавший время ab urbe con- dita[21] до своего самоубийства за строгим соблюдением формы падежей и склонений.

Ему случалось повеселиться, особенно позднее, когда он рукой махнул на порой смехотворные нормы поведения в этом ветхом бараке, называемом общественной жизнью или обществом. Но разве он и раньше не веселился, например демонстрируя Майку, теперь уже исчезнувшему в жизни, где так мало смешного, как его мать кричит: «Врет!» — и ее крики разносятся по всему центру Вены?

Итак, у Франца было немало приятных качеств. Откуда они у него взялись, он и сам не знал. В любом случае он был щедр: хотел подарить Андреа Италию. А тогда это было самое прекрасное, чем он обладал. Собственно, он повез ее в Рим, куда стремятся все путешественники, но так уж получилось, что потом они автостопом доехали на грузовике до Пизы и там застряли. На Пизанскую башню он всегда хотел посмотреть.

Такое уж невероятное совпадение: он, юнец двадцати одного года от роду, поднимался на Пизанскую башню следом за Андреа по винтовой лестнице, и его глаза были малыми планетами-спутниками, ни на миг не отдалявшимися от центра своей Вселенной — соблазнительной планеты Андреа, неумолимо ускользавшей и не позволявшей им покинуть орбиту и приблизиться больше чем на три-четыре ступеньки, а его отец в это время лежал на столе в анатомическом театре. Этого Франц, однако, не знал. Он знал лишь, что «любить» — глагол действия.

Учитывая историю всей жизни Франца, которая скорее напоминала историю болезни, нет ничего удивительного в том, что Франц как мужчина еще не научился ориентироваться в ситуации. Он знал лишь, что хочет подняться следом за Андреа на Пизанскую башню и что сейчас его глаза — две планеты, которым не дано приблизиться к солнцу.

Но чего хотят пассажиры его спального вагона, он тем более не знал, а о том, что они, например, как и он, хотят спать, он вообще не догадывался.

Франц отвечал всего за один вагон, и в его обязанности входило только быть в распоряжении людей, которые хотят доехать в спальном вагоне отсюда туда. Однако, пока Андреа, переодевшись проводницей, ждала его, предоставив себя в его полное распоряжение, он, борясь со сном, с отчаянной храбростью застенчивости входил в купе к спящим пассажирам и будил их, чтобы спросить, не угодно ли им чего-нибудь, — и это накануне того дня, когда его отец был найден в Санкт-Пёльтене. К счастью, мы чаще всего не знаем, что именно сейчас происходит в другом месте.

Он то и дело будил ночью спящих, чтобы спросить их, не угодно ли им чего-нибудь, вероятно, еще и от неуверенности в себе. Днем, едва его пассажиры, испытывая некое подобие блаженства и уже начиная похрапывать, устраивались в своих купе, он будил их, чтобы они своим храпом не мешали другим, и они, собственно, должны были быть ему благодарны, но вместо этого только качали головой и возмущались. Ему уже исполнился двадцать один.

Он с готовностью бросался всем на помощь — всегда, всю жизнь, тогда как юношескую наивность ему впоследствии суждено было утратить. Но, может быть, она по-прежнему жила в нем, только подспудно. Да и кто поверит, что человек меняется: просто в разные периоды проявляет себя по-разному.

Франц был неуклюжий, неловкий, бестолковый мальчишка, проводник-неумеха, и в сущности таким навсегда и останется, хотя со временем и утратит юношескую свежесть и прелесть, — а сейчас прохожие на улице оборачиваются ему вслед и на ходу суют ему в полиэтиленовый пакет визитки, спрашивая, какой гонорар он хотел бы получить и когда ему удобно прийти на кастинг. Он и сам не знал, как он красив. Андреа говорила ему об этом лишь взглядами. Лишь прикосновениями рук, которые хотели его обвить. Если она что-нибудь ему и говорила, то чаще всего только какая же он бестолочь, неловкий, неуклюжий щенок.

И все-таки существовали люди, которые были счастливы оттого, что существует он.

Иногда он сам превращался в одного из них.

Все остальные тоже по большей части лишь взглядами давали ему понять, как он красив, а Франц и не догадывался, что эти взгляды значат. А скоро и вообще будет поздно…

Он будил крепко спящих пассажиров в том числе и потому, что о них беспокоился. Ведь он воображал, что с ними что-то

случилось. Часто они так откидывались назад или валились набок, широко разинув рот и хрипя, что это напоминало кому или инсульт. Он будил их, чтобы спросить, не угодно ли им чего-нибудь, будил господ, у которых, может быть, уже давно не было никаких желаний и которым вообще-то следовало поблагодарить столь очаровательного и любезного молодого человека за этот вопрос, пусть даже заданный не вовремя. А он тотчас же принимался перечислять, что он может им предложить: чашку капучино со сливовым рулетом всего за пятьдесят шиллингов вместо семидесяти. И говорил: «Честь имею кланяться», — когда его прогоняли.

«Не угодно ли вам чего-нибудь». Франца вообще никто никогда не спрашивал о его желаниях. Но он долгие годы угадывал одно желание в глазах тех, кто потерпел в жизни неудачу. При этом ему самому явно хотелось многого, главным образом быть с Андреа. Поднимаясь на Пизанскую башню своей любви, он бежал за ней, как пес за хозяйкой.

И вот уже пора возвращаться. Первая остановка во Флоренции. Поймать попутную машину, грузовик, оказалось совсем не сложно. Трудности возникли с самой поездкой или, скорее, с шофером, с его грязными фантазиями и грязными руками. Едва проехав Лукку[22], они захотели выйти. То есть захотела выйти в первую очередь Андреа, сидевшая в середине, рядом с рычагом переключения скоростей и его рукой.

Из Венеции Франц снова ехал проводником спального вагона, словно обратно ведет только один путь. Он возвращался в одиночестве. Без Андреа. Она осталась где-то на Понте Веккьо[23]. Может быть, встретила там мужчину своей мечты, с которым Франц так и не встретился.

Он возвращался домой в одиночестве, — больше ему ничего не оставалось. Ему было немного не по себе, как бывало всегда, когда он вечером оказывался в незнакомом месте и еще не знал, где устроится на ночлег, вот, например, сейчас: он проезжал по железнодорожному мосту между Местре[24] и островом, понятия не имея, где заночует. Может быть, в одном из неудобных кресел-раковин, которыми забит зал ожидания второго класса и в которых нормальный человек заснуть не может, и поделом, нечего путешествовать по жизни вторым классом. Но он мог спать и в таком кресле. Или, если повезет, на молодежной туристической базе на канале Гвидекка.

В Венеции его должна была ждать телеграмма из Вены. Но он ее не получил. Из-за особенностей тогдашней итальянской почты телеграмма опоздала на три года. Через три года Франц был уже в другом месте и уже пережил самое худшее. Клэр утверждала,

что послала ему телеграмму. Он, однако, подозревал, что Клэр ее не посылала.

Когда на обратном пути, неделю спустя, переезжая через Альпы под Клагенфуртом, он нашел у себя в купе старый номер «Прессе», его отца уже похоронили, а Франц тут же забыл боль разлуки. Ведь Андреа бросила его и навсегда скрылась в неизвестном направлении. А теперь еще это. Но он всегда руководствовался девизом, что два горя вынести легче, чем одно. Еще в детстве: одну зубную боль не вынести, к ней должно было прибавиться еще что-то.

Навсегда ушел от нас Господин тайный советник, профессор университета Доктор Франц Иосиф Маринелли, Лауреат премий и кавалер иностранных и отечественных орденов, Кавалер ордена Святого Гроба Господня,

Почетный член Папской академии наук святого Лазаря….

Он любил свой автомобильный фургончик. Мы любили его. Он был погребен в кругу своих друзей-охотников. Просим воздержаться от писем соболезнования.

Охотничье угодье Глоггниц, в разгар лета 1981 г. от Р.Х. Клэр Маринелли-Эбер-Бенедетти Франц Маринелли Профессор университета Энгельберт Маринелли с упругой Иленея Штрудель с муругим.

В текст некролога вкрались две опечатки, а может быть, таково было последнее предписание его матери. В любом случае, она настояла на многоточии…

Когда Франц пытался дозвониться матери, одну за другой бросая монетки в прорезь телефона-автомата на Южном вокзале Вены, она не подходила к телефону. От дяди Генри и тети Мауси, выкрикивавших на другом конце провода все как на духу, он по тому же телефону-автомату узнал, что произошло на самом деле. Услышав от них главное: «инфаркт», «Санкт-Пёльтен», «доставлен в анатомический театр», «неопознанный труп», «такой удар для твоей мамы», «возможно, совсем сошла с ума», «целыми днями играет на рояле», — он наконец доехал до улицы Штубенринг в центре Вены. Мауси: «Твоя мама перетаскивает с места на место горшки с цветами, словно хочет этим кому-то что-то доказать, и чуть с ума не сошла, вспомнив, как этот человек называл ее „мамочкой", а она его „папочкой", а теперь некого ей так называть». Еще поднимаясь в старинном лифте с чугунным литьем, он слышал, как его окончательно спятившая мать играет Скрябина, музыку, с которой ей ни за что не справиться, а она, поскольку между звуками практически не было пауз, вообще не слышала, как Франц пытается настойчивыми звонками вытащить ее из ее нот.

Она терзала рояль, как в те времена, когда готовилась к вступительным экзаменам в консерваторию, собираясь стать «дипломированной пианисткой». Может быть, хотела сейчас еще раз попробовать.

Тогда, в молодости, она продала «Бехштейн» в наказание за то, что не сдала экзамен. Она поместила объявление в газете «Прессе»: «Продается рояль фирмы Бехштейн, первого года выпуска, любимый инструмент Альбана Берга»,[25] — а когда в указанное время, «между четырьмя и шестью часами пополудни», позвонил первый потенциальный покупатель, еще до того, как он, последний, по его словам, ученик Альбана Берга, успел войти, села за этот великолепный инструмент в меховой шубе и сыграла «К Элизе», «единственное, что могла сыграть без ошибок», — как говорила Мау си. Тетя Мауси впустила покупателя, а Клэр все играла и играла. Рояль произвел на него большое впечатление, и он захотел узнать цену. Она сказала: «Миллион — столько предложило нам Музыкальное общество Вены», — и тогда ученик Берга поблагодарил и отказался: «Пусть Музыкальное общество его и покупает!» И Клэр осталась со своим «Бехштейном», и в конце концов в наказание продала его за смехотворную цену в кафе «Савой» на улице Линке-Винцайле, где бывают музыкальные вечера и где этот рояль стоит до сих пор.

В конце концов, после того как она несколько дней торжествовала над покойным мужем, сутками просиживая за роялем и объясняя это тем, что готовится к вступительным экзманам в консерваторию, он был вынужден передать ее под опеку соответствующих социальных служб. Она утверждала, что играет Скрябина (хотя больше это напоминало «Вот и птичка прилетела…»), подпевая во время игры, как Гленн Гульд,[26] повторяя: «Врет!» — что-то шепча, вскрикивая, иногда, обессилев, засыпая за роялем, а это уже было опасно для жизни.

Он сдал ее, пятидесяти лет от роду, не меньше, в самый дорогой венский дом для престарелых, вынужден был сдать, ведь она совсем сошла с ума. Бедная мама.

Но это уже другая история.

Прошли годы, и сгустились сумерки.

6

Теперь Францу Маринелли было уже тридцать, а «ты в этом возрасте либо себе новые зубы вставил, либо все еще ногти грызешь, как мальчишка». По крайней мере так говаривал дядя Генри, и тетя Мауси с ним соглашалась.

Голос стюардессы мягко попросил пристегнуть ремни, словно объявил детскую передачу. Генри и Мауси были бодры и благодушны, словно жизнь еще готовит им что-то хорошее. Франц тоже. Они сидели с умильным выражением лица, как те, кто хоть и знает наизусть «В наших Альпах, в час рассветный…», но уже давно не поет. И правда, был рассвет, утро чудесное, и они собрались попутешествовать. Настолько счастливы, что готовы взлететь. Улетать — такое счастье. Лететь означает улетать.

Дядя Генри и тетя Мауси были невелики ростом, но только по сравнению с другими. Сами по себе они казались высокими. И были настолько одним целым, что иногда она испытывала угрызения совести из-за его пороков: словно это она оборачивается вслед официантам, плавно скользящим по залу, как в парижском ресторане «Максим».

Генри никогда ей не изменял. С другой стороны, ей так и не удалось полностью обуздать его жадные взгляды, украдкой бросаемые в сторону красивых незнакомцев и запрещенных кушаний. Он любил рельефные мускулы и сласти. В мире было полным-полно красивых официантов и людей, которые подходят к столику и, склонившись, доверительно спрашивают: «Как поживаете?» и «Не угодно ли что-нибудь заказать?». Под конец Генри весил больше двухсот килограммов, не меньше чем тоска, читавшаяся в его рыскающих по сторонам глазах.

Мауси и Генри летели бизнес-классом: «Мы так редко летаем», — говорили они. Благоговение, с которым люди произносят слово «бизнес-класс», напоминало Францу восхищение историков прошлым исключительно потому, что оно прошло. Таков был Horror vacui[27], испытываемый историками перед пустым, ничем не заполненным временем, а Франц, чтобы хоть чем-то заполнить свое прошлое, вспоминал о своей несчастной любви. Воспоминание о ней было незарубцевавшейся раной. Франц сейчас пролетал над местами, где разворачивались основные события его прошлого, над местами, по которым он, в ту пору помощник проводника в спальном вагоне и начинающий любовник, проезжал десять лет назад: вот Южная железная дорога, вот Земмеринг, вот горы, такие маленькие, если смотреть сверху, — все это вскоре скрылось далеко внизу и осталось в далеком прошлом; он еще раз увидел те горные перевалы и вершины, на которых когда-то мучительно страдал от неразделенной любви.

Франц, его дядя и тетя на борту турбовинтового самолета компании «Ал италия» как раз пролетали над озером Гарда возле городка Сало[28]. Потом они приземлились на довольно обшарпанной взлетно-посадочной полосе под Брешией. На так

называемом здании для приема авиапассажиров, которое на обратном пути превратится в здание для ожидающих вылета, они, выглянув из своего маленького иллюминатора, смогли разобрать надпись крупными буквами «Международный аэропорт Брешии». Самой Брешии ни сейчас, ни позже им рассмотреть не удалось. Дальше ехали на взятой напрокат машине, за рулем был Франц. Его задача заключалась в том, чтобы без приключений доставить их обоих, и себя тоже, в отель «Киприани». Дядя Генри считался крупным искусствоведом, а его жена Мауси всю жизнь сопровождала его по стандартному маршруту: в отель «Киприани» в Азоло[29] — на машине с кондиционером, до балдахина во дворе палаццо, оттуда пешком по лестнице, а под конец еще провожала взглядом, пока он не скроется за дверью своего номера — одного из трех отведенных им роскошных номеров с фресками шестнадцатого века, с мини-баром, — переночевать в постели с пологом обойдется каждому в пятьсот долларов. Франц, лежа в одиночестве в постели с пологом, слышал пение дроздов и рокот мотоциклов, доносящиеся с улицы, точно из другого мира, к которому он вскоре не будет иметь никакого отношения. Все это уже ушло так далеко. А вскоре уйдет еще дальше. Вот так он ощущал себя в тридцать лет.

Куба, черепашка… Мечтам своей юности Франц изменил, а может быть, это они ему изменили и куда-то исчезли, словно затаились в засаде, чтобы в решающий миг выскочить оттуда и наброситься на него.

Так и бывало: прошлое снова и снова подстерегало его, настигало, обрушивалось всей своей тяжестью.

И только сон ему не изменил.

Франц мог бы кое в чем упрекнуть эту жизнь. Например, его всегда возмущало, что в мире, в какой-то яркой, глянцевой, полупризрачной его области, существуют великолепные и неприступные красавцы и красавицы, совершенно недостижимые для жадно и неотрывно наблюдающих за ними издалека уродин и уродов, которым суждено услышать слова «я тебя люблю» лишь из уст себе подобных, лжеца, христианина, добродушной и многотерпеливой жены или какого-нибудь иного, столь же милосердного человека. В общем, из уст людей, которые, если относятся к бедным уродинам и уродам серьезно, всегда к этому «я тебя люблю» мысленно прибавляют: «Хотя страшнее тебя еще поискать».

За неделю до отъезда Франц вместе с дядей и тетей еще раз посмотрел фильм Пазолини «Теорема», в котором появляется ангел, разрушающий все, к чему прикасается, в том числе и прекрасные, ведущие куда угодно и в никуда аллеи, которые еще

существовали в долине По, когда снимался фильм, а теперь остались только на кинопленке. По ним разъезжала в ноябре Сильвана Мангано, жена директора фабрики, а потом ее под звуки «Реквиема» Моцарта — «Dies irae» — насилует тот человек, а в конце фильма жена директора фабрики выбирается из рва, с растрепанными волосами и безумным лицом, — ничего подобного до Пазолини ни кинематограф, ни литература, ни жизнь не знали. Опустившийся тип поправляет штаны с гордостью пролетария, который поимел эту надменную богачку как следует, а она садится в автомобиль и едет обратно, в сторону Милана, под звуки «Реквиема» Моцарта — «Dies ilia», и кричит долго и громко — ничего подобного никто никогда не слышал ни на равнине По и вообще нигде, — кричит пронзительно, проезжая по прямой как лезвие аллее.

Итак, капелла Скровеньи[30] была закрыта.

От отеля «Киприани» было рукой подать до вилл Палладио[31], которые Генри собирался им показать и по которым, кажется, даже обещал провести для них экскурсию. Но потом Генри никуда не поехал, остался в своем роскошном номере с фресками, так как сразу по пробуждении якобы почувствовал себя плохо, он ведь никогда не был абсолютно здоров и никогда не мог сказать наверняка, что болен, но в то утро, когда они решили отправиться на виллу Ротонда, чувствовал себя «хуже некуда», как он выразился. Мауси и Франц так и не узнали, почему Генри практически неделю просидел в отеле. Вскоре они стали подозревать, что все дело, вероятно, в официанте Микеле, обслуживающем их столик. Или в Сандро, бармене. А может быть, в обоих. Неспроста Генри часто сидел в библиотеке или в баре за журнальным столиком и притворялся, что читает. Но, может быть, он только любовался красивой фотографией Че Гевары в баре «Киприани», на которой герой был снят в тот миг, когда победно спустился с гор Сьерра-Маэстра с пистолетом в одной руке и первой после победы коибой[32] в другой. И Генри не мог скрыть своего восхищения, хотя вообще-то ему были мало свойственны революционные настроения. Сандро у кофеварки, а за ним на стене — фотография Че Гевары…

Генри никогда не уезжал из Европы и поэтому считал, что Италия чрезвычайно эротична. Если бы ему довелось побывать на Кубе!

На второй же день, когда он объявил за завтраком, что никуда с ними не поедет, но всячески настаивал на том, чтобы его жена и Франц отправились на этой чудесной машине посмотреть что-нибудь чудесное, у Франциска, как называл его дядя, и тем более у Мауси закралось подозрение, что все дело в

Сандро, весь день томящемся за стойкой бара в ожидании, когда у него закажут коктейль или какой-нибудь другой так называемый «дринк», а потом подающем их с льстивой, подобострастной улыбкой, как того требует профессия. При этом Сандро держал себя совершенно непринужденно, курсировал между столиками и стойкой, словно все это детские игры.

Франц и Мауси сквозь пальцы смотрели на причуды Генри — мол, это старческий каприз, старались не замечать его зловещих пристрастий, точно это были невинные странности. Они не смели признаться себе в том, что все это не пустяки, не легкий приступ мигрени.

Генри говорил, что ему так плохо, так нехорошо, что он «ни за что на свете» не отправится в столь утомительную поездку к одной из вилл Палладио, ведь там «множество крутых лестниц и ни единого лифта», и уже тем более не сможет провести для них экскурсию на месте.

Итак, они вдвоем уехали из Азоло, чтобы осмотреть капеллу Скровеньи в Падуе. Генри дал парочке еще кое-какие указания, напомнил, на что они должны особо обратить внимание, а потом проводил и помахал на прощанье.

Итак, они ехали по прекрасному городу Азоло, мимо виллы Палладио, которую вместе с Генри собирались осмотреть в первую очередь, и встроились в ряд, держа курс на жизнь на автостраде SS 248.

Собственно, уже тогда Италия мало напоминала Италию. Это было очевидно, но верить в это все-таки не хотелось.

Падуя их тоже разочаровала. Разочарование они могли бы заесть пиццей или на площади перед базиликой, скрытой строительными лесами, запить капучино, который, кстати, был придуман в Вене, или стаканчиком граппы — по крайней мере звучит лучше, чем водка из виноградных выжимок. Капелла Скровеньи была закрыта, и они расстроились, но стали утешать себя тем, что в итальянских музеях так и так экспонируется не все и что самое красивое утаивают, или уже похитили, или загубили неумелым хранением, — а потом решили отправиться в обратный путь и вернуться в Азоло к обеду раньше намеченного.

Итак, не было и полоеины первого, когда они сели в машину и выехали на автостраду, чтобы успеть к обеду в «Киприани».

В отеле тетя Мауси захотела быстренько принять душ, а Франц сразу же направился в ресторан. «Генри, — думал он, — сейчас в постели и проспит этак с часу до пяти». Во время их путешествий он всегда исчезал как минимум часа на три. Едва кивнув, он снова исчезал, может быть, и в самом деле потому, что устал, но, может быть, еще и для того, чтобы снова к ним

вернуться. И дома он поступал так же: каждый день как минимум один раз скрывался от самого себя. Иначе такой долгий день и не вынести. Засыпать, по его мнению, было одним из наиболее приятных состояний, которые ему случалось испытывать. Да и просыпаться тоже, особенно теперь, когда он мог распоряжаться своей жизнью как хотел. У него уже давно не было так называемых обязательств: собственно говоря, он просыпался по утрам только для того, чтобы не позднее половины второго снова лечь спать, чтобы заснуть и снова проснуться, в надежде, что сейчас он блаженно заснет и умрет во сне. И однажды его в самом деле не удалось разбудить, как ни трясли, как ни уговаривали проснуться, как ни увещевали, как ни напоминали, что его ждет любимое лакомство — мороженое с ромом и орехами. Вот так, любил поспать и во сне умер, — по пословице: повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить.

Однако, войдя в зал ресторана, Франц заметил, что за их столиком, «недалеко от окна, чтобы свет был не слишком яркий, а приглушенный», как гласили указания дяди относительно освещения, еще когда он заказывал номера, — сидит Генри. Он расправил на груди огромную полотняную салфетку и нетерпеливо, как ребенок в ожидании подарка, поглядывал на официанта, который в это мгновение обливал коньяком и поджигал жаркое.

И тут Франц забыл, что было в этом путешествии дальше.

Именно тогда, при виде Генри, Франц Маринелли задумал фотоальбом, и более того, нашел свое истинное призвание: внезапно, мгновенно он понял, чем отныне будет заниматься. Он не хотел запечатлевать решительно ничего, кроме людей в миг истинного, несомненного блаженства. В такой миг, когда Генри подали тарелку, или в такой же миг, чуть позже, когда он поднес вилку ко рту. Ведь тот, кого видел перед собой Маринелли, был счастлив.

В голову любому человеку, в том числе и Францу, приходит множество идей, но чаще всего ни одна из них впоследствии не воплощается: все, о чем на протяжении своей жизни говорит и думает человек, обычно исчезает бесследно. Франц до сих пор не знал, кем хочет стать и что из него выйдет. Фотографировать и подрабатывать экскурсоводом — куда ни шло, пока он еще студент, сойдет, но ведь на это не прожить. Жизнь напирала, того и гляди собьет его с ног, а он пока был перед нею совершенно беспомощен. До сих пор он не жил, а все строил какие-то призрачные планы, что-то замышлял, размышлял, и этим пока все и ограничивалось. Дальше этого пока не шло.

Когда-то он уже носился с идеей фотоантологии

«Беспорядок», в которой хотел показать комнаты людей, не умеющих убирать за собой. Или скамеечки с сидящими на них дамами, которые, закрыв глаза, подставляют лоб первым, а может быть, последним лучам солнца. Найти такие лица можно в парках каринтийских курортов или в Зальцкаммергуте[33], а еще на море, вечером, на закате, — улыбающиеся лица с печатью любви и самоотречения, чем-то напоминающие Будду, — он уже сделал несколько таких снимков. Однако улыбок на этих лицах в действительности не было. Впечатление улыбки создавал особым образом падающий свет.

Но только когда Маринелли задумал альбом под названием «Счастье», его жизнь и в самом деле обрела смысл, и это было настолько очевидно, что он даже испугался, как бы кто-нибудь не украл его идею и не явил этот проект миру прежде него. (Ведь так называемые художники больше всего любят поговорить о «проектах», вот упомянет он невзначай о своем «проекте» — и поминай как звали.)

Потом он решил фотографировать знаменитостей за едой, ведь они выглядели столь же блаженными, как и простые смертные, по крайней мере пока думали, что на них никто не смотрит; немногое же еще объединяет людей в этом мире.

А может быть, единственное, что объединяет всех однажды родившихся, — смерть.

Франц долгое время думал, что счастье нельзя сфотографировать. Но теперь, зачарованно следя, как ярко сияет облитое горящим коньяком жаркое, он понял, что счастье и вправду существует, хотя длится лишь мгновения. И что его можно сфотографировать.

К сожалению, у него не было с собой фотоаппарата.

Генри в этот час был единственным посетителем ресторана в стиле модерн, и поэтому ничто не отвлекало Франца от лица Генри, отразившегося в отблесках коньячного пламени в настенных зеркалах: это мгновение как нельзя более подходило для планируемого Маринелли альбома с фотографиями людей, запечатленных в тот миг, когда перед ними ставят тарелку или когда первый лакомый кусочек вот — вот исчезнет у них во рту. Франц никогда не видел более счастливого человека, чем Генри в ту тысячную долю секунды, когда подносил вилку ко рту.

Поначалу он задумывал этот альбом как что — то значительное и масштабное: все мгновения счастья, которые читались на лицах, он хотел если не сохранить навсегда, то по крайней мере подтвердить документально. Таким образом, его серия «Остановись, мгновенье!» обещала внести вклад в историю человечества.

Но даже испытывая блаженство, люди все — таки были неискренни, даже занимаясь любовью, в постели, они пытались использовать возбуждение партнера, притворяясь, что счастливы с ним. Поэтому Маринелли выбрал для своего фотоальбома не притворство людей на пороге оргазма, а бесспорное, несомненное, хотя, может быть, и примитивное счастье.

Вернувшись в Вену, он немедленно принялся снимать — по большей части писательские выступления. Он фотографировал лица писателей в разных ракурсах: спереди, сбоку, так, эдак, за секунду до того, как они произнесут первую фразу, как правило неудачную. А еще у него хватило бы на целый альбом фотографий слушателей, сидящих в первом ряду читальных залов городских библиотек, и мечтательно улыбающихся, и кажущихся счастливыми за секунду до того, как писатель произнесет первую фразу.

Читая отрывки из своих произведений, сам писатель, возможно, ощущал полуобморочное блаженство и оттого порой настолько увлекался, что не мог остановиться, и администратору приходилось выключать свет, однако его лицо при этом ни на миг не утрачивало скорбного и безрадостного выражения. Он всего-навсего искусно притворялся особенно несчастным, в отличие от большинства слушателей, сидящих во втором ряду и дальше, — либо откровенно несчастных, либо скучающих, с застывшими на лицах гримасами досады, либо разозленных тем, что приходится здесь торчать, высидеть этот бред до конца, и надо же, опять вечер прошел впустую, а они вот-вот заснут.

Выражение счастья на лицах слушателей в конце зала объяснялось просто: они заснули, как в клинике, где лечат гипнозом. А те, кто не спал, мечтали и смотрели в окно или вглядывались в бесконечность за оконным стеклом.

На писательские чтения все эти журналисты, заместитель бургомистра, директор библиотеки часто приходили не по своей воле; в конце они выступали с небольшими речами о том, как же они счастливы, что уговорили писателя к ним прийти, и какое это счастье для них лично. Но по-настоящему счастливое выражение, которое можно было запечатлеть на фотографии, появлялось на их лицах только во время маленького фуршета, когда они решались признаться себе, что хотят наконец насладиться жизнью: «Я хочу наконец заняться любовью, потрахаться, ча-ча-ча!»

Все, чего слушатели, включая Франца, хотели в эти неумолимо тянувшиеся часы, — это жить, а не следить за тем, как писатель тщетно пытается создать некое подобие иной жизни посредством слова. Да и что такое в конце концов роман! И чем

он отличается от реанимации? Ведь роман — это отчаянная попытка оживить прошлое, вдохнуть жизнь в то, что уже умерло. Воскресить то, что ушло навсегда. Ведь подобное сочинительство — не прекрасный, а кошмарный сон. Ведь пишут чаще всего те, кто одержим навязчивой идеей, будто мир без их книг не обойдется; кто воображает, что прошлое еще можно оживить, да еще зарабатывает деньги этим самообманом. Пишут книги те, кто воображает, что еще не все потеряно, что жизнь еще впереди.

Неужели писатели не догадывались, что все их усилия бесплодны? А они ведь фиксировали все, что с ними происходит. Дело в том, что они воссоздавали идеальную Вселенную на основе жалких подробностей реальности, пытаясь на страницах книг приукрасить собственную мелкую и пошлую жизнь, показать ее не такой, какой она была на самом деле, а значит, на страницах книг еще раз от нее отречься.

Ненавидя фотографов и завидуя им, писатели воображали, будто их взгляд способен проникнуть в некую загадочную область, недоступную глазу фотографа. Писатели были убеждены, что провидят тайны макро — и микрокосма, что рядом с их величием меркнет маленькое, с подсолнух, солнце, тускнеют крошечные, точно песчинки, звезды и что средоточие всего сущего — это их глаза, от которых не укроется ничто ни в одном из видимых и невидимых миров. Писатели способны запечатлеть невидимое, по крайней мере так им казалось.

Писатель черпал вдохновение в прошлом, безвозвратно исчезнувшем и грозившем лишить его настоящего. Прошлое постоянно вторгалось в настоящее писателя, точно какая-то тяжелая болезнь. Именно такими, с печатью тяжелой болезни на лицах, выглядели писатели на его фотографиях. Стоило им увидеть эти снимки, как они, присмирев, испуганно затихали и мысленно, наверное, задавали себе вопрос: «Боже мой, и это я? Что это со мной?»

Все, кто пишет книги, черпали вдохновение в несчастье. В несчастье и в тоске по далеким пальмам. Все события их жизни остались в прошлом, в настоящем было только несчастье.

Эти писатели читали свои произведения с таким видом, словно управляют ходом созвездий и усыпанное звездами небо в их власти, словно кроме них никто не дышит, не живет и не умирает, словно Вселенная существует ради них одних, лишь для того, чтобы сошелся их гороскоп. Ну и что же, это все?

Погруженный в эти размышления, Франц снова заснул и даже увидел какой-то сон.

Но впервые Франц задумался о природе счастья, увидев своего дядю в то мгновение, когда ему подали тарелку с облитым

пылающим коньяком жарким, которое навеки исчезнет у него во рту.

Сначала Франц решил снимать писательские чтения, но потом обнаружил, что на фотографиях у него все больше скучающие, или спящие, или те, кто не мог заснуть, а очень хотел бы демонстративно, вызывающе, чтобы дать выход своей злости, показать, что им тут не литературу предлагают, а бред, дерьмо какое-то этот тип перед ними размазывает. Единственные, кто ощущал себя на этих чтениях счастливыми, — это писатели, даже если по их виду это было незаметно, ведь они приходили в черных костюмах и сидели со скорбным выражением лиц, еще не успев произнести первую фразу, часто неудачную во всех отношениях. Поэтому Франц в конце концов исключил их из своего альбома «Счастье».

Франц вскоре понял, что в жизни люди чувствуют себя счастливыми, когда главное уже позади, — не важно, занимались ли они любовью, приходили на поминки, предвкушая оглашение завещания, или даже слушали писательские чтения; только под конец они ощущают блаженство — не важно, на праздничном банкете, когда их еще раз восхваляют и прославляют во время застольной речи, ища ли глазами бутылку или официанта с бутылкой, в ожидании вопроса «Вам красное или белое» и украдкой посматривая, где же тарелки и кто положит им еще.

Францу случалось фотографировать их и на приемах поскромнее, когда они во время фуршета опасливо и похотливо следят за соблюдением очереди, подмечая, кто здесь слишком часто протискивается к подогретым тарелкам. А настроение падает по мере опустошения тарелок, но в какой-то момент, когда участники банкета мысленно говорят себе: «А сейчас я встану, пройду к столику с десертом и всего положу себе на тарелку», — на их лицах неизбежно появляется счастливое выражение, радость предвкушения. А потом они возвращаются, уверенные, что урвали что-то, чего тем, кто подойдет позже, не достанется, что у них есть что-то, чего у других не будет. Ведь почти все уже съедено дочиста.

Францу казалось, что всего одному мгновению, именно тому мгновению, когда он увидел счастливого Генри, он обязан многими годами жизни или вообще всем. Но именно тогда у него не было с собой фотокамеры. Вспоминая об этом мгновении, он вспоминал лишь о том, что воспоминание — не фотография. А потом замысел альбома «Счастье» почему-то не воплотился. Этот фотоальбом так и не увидел свет. Но толчок уже был получен, и Франц понял, чем отныне хотел бы заниматься.

7

В несчастье черпают вдохновение все, кто пишет книги, но трагедия фотографа заключается в том, что ему не запечатлеть себя на снимке.

Франц заметил, что Лу ищет у него за ушами послеоперационные рубцы. При встрече она слишком долго к нему присматривалась и потом, тесно прильнув, все старалась разглядеть рубцы от лифтинга. Франц чувствовал ее взгляд на шее, которую ему ни за что не увидеть. Только прибегнув к помопщ зеркала, он мог почти детально рассмотреть себя. В первую очередь глаза. Иначе он не сможет увидеть свои глаза. У сорокалетнего Франца до сих пор не было ни одной морщины. Зато его сплошь покрывали рубцы от воспоминаний.

Но обнимал он ее страстно, как мальчишка.

У Франца была назначена деловая встреча в Вене, последнее собеседование перед отъездом на Кубу, а потом, в прекрасном в мертвом месяце ноябре[34], ему предстояла ненужная встреча бывших одноклассников. Он согласился, но в любой момент мог отказаться. Или просто не пойти. Однако ему хотелось вновь погрузиться в атмосферу школьных лет, вновь почувствовать себя подростком рядом с одноклассниками-подростками, посмотреть на них нынешних и понять, ощутили ли они горечь прожитых лет или беззаботны и счастливы, как прежде, когда *стоило произнести слово «зима», и вспоминались морозные узоры на стекле*, а они впервые лежали обнаженные под одним одеялом.

Встречу бывших одноклассников устраивала Марилуиза в роскошной альпийской гостинице для горнолыжников на перевале Земмеринг. Марилуиза была замужем за предпринимателем, поставлявшим продукты на званые обеды, банкеты и свадьбы, и потому знала, как все должно быть.

Франц поехал туда ради Андреа и Майка и, бокал за бокалом потягивая вино, стоял у двери, боясь их не заметить. Но они не вошли в эту дверь — ни он, ни она. Если бы они приехали, то выяснилось бы, что их тоже обогатил и развратил опыт еще двадцати прожитых лет. Майк, его друг, к исходу отрочества, в ранней юности, стал ревностным, истово верующим католиком и в конце концов выбрал поприще священника, а ведь до этого много лет сталкивал Франца в воду и всячески давал понять, что в него влюблен.

Он стал священником — так в старину уходили в монастырь от несчастной любви. Таков был его выбор — не жизнь, не смерть, что-то среднее. Майк решил стать богословом Михаэлем, когда осознал, что Франц от него уйдет, что их отношения постепенно

близятся к концу. Они расстались во время экзаменов на аттестат зрелости, когда все мальчики и девочки уже готовились исчезнуть в неизвестной, манящей, загадочной жизни.

Поблизости с бокалом аперитива стоял еще один бывший одноклассник, ныне консультант по финансовым вопросам, уже поседевший, но выкрасившийся в черный цвет под канцлера Шрёдера. Таким жгуче-черным он не был даже в свои лучшие годы.

Это был Ханси, такой толстый, словно все это время только и делал, что жрал. Вот не ожидал. Ханси, он ведь писал в штаны и ногти грыз уже будучи подростком, даже когда они школу заканчивали, а сейчас, смотри-ка, консультант по финансовым вопросам с ослепительной голливудской улыбкой.

«Кто в тридцать пять не обзавелся новыми белоснежными зубами…» — гласила его поговорка, а ему ведь уже исполнилось сорок…

Все, кого он не хотел видеть, как назло, были в сборе. Кого он с самого начала терпеть не мог, явились в полном составе.

Чем же Франц мог перед ними похвастаться? Вот разве что рассказать, что задумал написать путеводитель для гурманов. Объявить, что собирается составить «Полный путеводитель по ресторанам Альпийской республики, где вы можете отведать самые вкусные шницели», — ничего лучше он придумать не смог.

Он пока еще ничего себе, но ведь ему уже сорок, зубы вставлять вроде рано, но…

Узнав наконец Ханси, державшегося настолько самоуверенно, что поначалу его при всем желании нельзя было узнать, Франц сказал: «А, это ты».

И тут с развязностью мерзавца, не чувствующего разницы между откровенностью и бесстыдством, этот толстяк вдруг выпалил фразу, которую могут позволить себе лишь те, кто еще в детском саду вместе стояли у одного писсуара, даже если потом они и потеряли друг друга из виду: «О, старый гомик Франц! Вот не думал, что из тебя что-то получится». Выпалил, поставив прошлое с ног на голову: все ведь думали, что это из Ханси ничего не получится…

Франц тоже не представлял себе, что может получиться из этого Ханси, черт его знает, вот разве что разжиреет. И найдет себе соответствующую жену: он говорил, что любит толстух и что рассматриваются кандидатуры только невест в три обхвата.

Францу стало неловко: сразу вспомнилось, как в квартире на Рингштрассе они играли в мужа и жену. Франц быстро оборвал его, сказав, что он фотограф и снимает главным образом писателей.

«И что, можно на это прожить?» — спросил Ханси.

Да кто его знает.

Еще один бывший одноклассник, потомок венской династии мясников, в школьные годы тоже мечтавший стать священником, но в конце концов сделавший карьеру психоаналитика, болтался поблизости с бокалом красного вина и то и дело приставал к нему с расспросами. В бывших помещениях мясного магазина в Девятом округе теперь находилась его практика. Кушетка стояла там, где десять лет назад висели на крюках туши.

А другой мальчик из их дортуара был посвящен в сан священника в прекрасной, посещаемой паломниками готической церкви Марии Заступницы[35], что между Бруком-на — Муре и Грацем. Ее хотел снести император Иосиф II. Можно подумать, весь мир в его власти. Франц понял, что все слоняются с бокалами красного вина, дожидаясь, когда же начнется ужин.

Майк, да, наверно, и он сам в какой-то мере тоже, в отрочестве хотели, чтобы все навсегда оставалось неизменным: этот дортуар с сотней мальчиков и с ним самим — старостой дортуара, мальчишки, которым по ночам снятся девочки, уехавшие домой на каникулы. Майк любил мальчишек, которым снятся мальчишки. Франц любил мальчишек, которым снятся девочки, и девочек, которым в преддверии разлуки, перед тем как они уедут домой на каникулы, снятся мальчишки. Подростком он хотел немного: только бы все оставалось как есть, только бы не вырасти и не жениться, ведь муле сразу после свадьбы начинает давать объявления («познакомлюсь с…») и разъезжать по жизни в автомобильном фургончике, где его возлюбленные забывают, намеренно или случайно, щетки для волос на лобке, а жена каждый день терзает его упреками и обвинениями.

И он уже растворялся в воспоминаниях и беспамятстве, этой соляной кислоте жизни.

Как же их всех, одного за другим, затянула жизнь, и они исчезли в ней бесследно, точно рабы в зарослях сахарного тростника, — ему казалось, что никто, кроме него, не вернулся с плантаций, он один выжил, потеряв всех. Некоторые исчезли, оставив лишь адрес: «Эдмонтон/ Альберта/ Канада». Джоном завладела японка. Аннетта, не оставив даже адреса, пропала где-то в Джорджии, пообещав не пропадать. И все живы, а на самом деле все равно что умерли, и нет надежды, что когда-нибудь они еще раз, держась за руки, пойдут домой из детского сада. А вдруг однажды днем, а может быть, и ночью кто-нибудь позвонит в дверь, словно это всего лишь дверь, и он чуть-чуть смущенно спросит: «Кто это?» И тогда он или она назовет свое имя…

А лица везде одинаковы — в залах библиотек, на банкетах

после писательских выступлений, на встрече бывших одноклассников… Такие лица он сейчас лениво фотографировал, чтобы обрести нужный творческий настрой, пока не подадут тарелки и не начнется его главная работа, а еще надеясь отвлечь внимание своих моделей, ведь он хотел скрыть от них, для чего стремится их увековечить. Мгновение было кратким, а вечность длилась немногим более трех секунд.

Все проходит слишком быстро, — глядишь, так и жизнь пролетит. Вот и весна уже на исходе. А ведь в юности ему казалось, что он всегда будет распоряжаться своим временем, словно у него бессрочный абонемент на время. И что самое важное наступит еще не скоро, что у него есть будущее, яркое и необыкновенное. Ведь все на свете, в том числе и он, чего-то ждут. Когда-нибудь он встретит женщину своей мечты. Непременно встретит. Раздавая бывшим одноклассникам фотографии, он думал, что нельзя терять надежду.

Ведь у него действительно есть будущее.

К тому же он все еще надеялся, что на встречу приедет Майк. Что если уж не пришла Андреа, то хотя бы Майк придет, увидит его и узнает. Ведь если Франц его не узнает, вот будет горе. Лучше уж пусть Майк его не узнает.

Но они не встретились.

Когда-то Майк прислал ему прощальное письмо, в котором объявлял, что уезжает в Рим изучать богословие. Может быть, навсегда

…А потом они зашли в отдел трусов, писал Майк, рядом с так называемой галантереей, и его мать, крестьянка из Штирии, ловко, с неподражаемыми ухватками, рылась в белье, которое в универмаге «Адльмюллер» в беспорядке лежало на открытых прилавках. Это было во время рождественской распродажи. А ему, без пяти минут студенту факультета философии и богословия, предстояло облачиться во все это, то есть в белье и верхнюю одежду, или, как выразилась тогда его мать, «в исподнее кое-какое да в платьишко». Рядом стояла дежурная продавщица, ничего не смыслившая в белье, но быстро втянутая его матерью в обывательскую беседу. Его мать неоднократно повторяла «вот спасибо-то», имея в виду качество трусов, ткань которых она в этот момент пробовала на ощупь. Это был однотонный предмет туалета, пурпурно — красный, как кардинальская шапочка, — а уж прочные, плотные, сгодятся даже для зимы, в них хоть куда, и в пир, и в мир. И тут вдруг его мать решила посвятить постороннюю тетку в рабочем халате в интимные подробности происходящего и, торжествующе потрясая пурпурными кардинальскими трусами и указывая на своего

девятнадцатилетнего сына, который стоял на пороге жизни, выпалила: «Это для него, он у меня священником будет, то-то они ему пригодятся!» А он покраснел, стал примерно такого же цвета, как эти трусы, и от краски стыда похорошел, стал таким же, как в отрочестве, в пору расцвета, но это все в прошлом, что вспоминать, какая теперь разница, красив он был тогда или нет, важно, что сейчас он одинок, Франца с ним нет.

Поведав эту историю, Майк ушел из его жизни.

Вот такой крутой поворот, вот так они расстались…

«Не угодно ли вам чего-нибудь, не хотите ли чего-нибудь» — какие чудесные слова! Как давно уже Францу ничего не хотелось и как давно его никто не спрашивал, не хочет ли он чего-нибудь. Люди, с которыми его сводила жизнь, шпыняли его, помыкали им, использовали, как будто так и надо. Распоряжались им, как будто так и надо. Не важно, умный Франц, глупый, живой, мертвый, — им было наплевать. Утром из окна поезда он видел что-то похожее на купальню, ему даже почудилось, что пахнуло скошенной травой, купальными трусиками и сенью высоких деревьев.

Но это было утром, а теперь стемнело, и он вышел на веранду выкурить сигарку и посмотреть на мир. Над лесами, людьми и огнями простиралось прекрасное небо. Наступила ночь, но в лунном свете все было видно. Вдруг ему все открылось. Все вдруг ему открылось. Ему вдруг открылось все.

В доме тем временем танцевали под старую песню «Born to Be Wild»[36] времен фильма «Easy Rider»[37]… Они уже порядком напились, и вошли в раж, и трясли головами, как в старые добрые времена, когда у них еще были пышные кудри, рассыпавшиеся по плечам, а им самим было невдомек, что юность скоро кончится… Гремел хард-рок, а он стоял у окна ванной, как вдруг услышал голоса Клаудии и Люзи, они явно говорили о нем, но Франц разобрал только обрывки разговора:

— Он какой-то загадочный.

— Ты так думаешь?

По долине пронеслась «скорая помощь», он разглядел ее и расслышал сирену, — словно едет спасать его. Над ним стояла полная луна, светили звезды, равномерно распределенные по небу.

Он зашел в дом, вышел из себя и смешался с толпой.

Все были на «ты».

Сузанна притащила с собой какого-то писателя, который только что в составе делегации австрийского канцлера побывал в Пекине и собирался на Кубу, о чем Франц не узнал, поскольку не поговорил с Сузанной, а она с ним; остальные пришли со своими

консультантами по финансовым вопросам, психотерапевтами, оперными певцами и певицами, имеющими консерваторские дипломы.

— А ты?

— Я… — протянул Франц, словно вынужден просить извинения за то, что пришел один.

Словно самое главное — это похвастаться спутницей или спутником жизни, как сувениром из далекой страны.

Поняв, что ни *она,* ни *он* не придут, он решил быстренько напиться и развеселился, как в старые добрые времена. И вскоре уже сидел в кругу бывших одноклассников, вошел в раж и стал рассказывать о своем детстве, о том, как мать целыми ночами вопила: «Врет!» — а отец немного погодя откликался: «Пошла к черту!»

«Всякий раз, когда я занимаюсь любовью, — сказал он под конец, — я думаю о тебе, Ханс, дорогой». И Ханс засмеялся, покраснел и уже готов был поверить. Но Франц еще не закончил фразу: «Всякий раз, когда я занимаюсь любовью, я думаю о тебе, Ханс, чтобы оттянуть оргазм».

Таково было его последнее слово.

Ночью ему приснилась госпожа Зенневальд, она стояла перед ним и улыбалась. Сколькими прекрасными мгновениями детства он был ей обязан; например, когда, одной рукой передавая ему воздушное пирожное с шоколадом, она другой брала плату — шиллинг. И другими мгновениями блаженства, навсегда превратившими для него Глоггниц в некое подобие рая. Потом в один прекрасный день он потерял ее из виду. Ее, всю жизнь простоявшую за прилавком в магазинчике и служившую постоянным источником счастья для все новых и новых поколений детей, однажды сбила машина, и за рулем, может быть, сидел человек, для которого госпожа Зенневальд когда-то служила постоянным источником счастья. Как же, проснувшись, он тосковал по госпоже Зенневальд и тому ребенку, которого так легко было осчастливить воздушным пирожным с шоколадом.

Франц ни за что не хотел с ними завтракать и рано утром уехал. Он просто ускользнул, ни с кем не попрощавшись. Больше всего он боялся общего завтрака и перекошенных похмельных лиц. Самое ужасное в жизни — общий завтрак, он всю жизнь это подозревал.

До вокзала в Глоггнице Франц ехал на такси. Впервые в жизни он столкнулся с тем, что таксист потребовал задаток. Всего каких-нибудь тридцать лет назад здесь, в Глоггнице, он целых две недели изо дня в день оставлял на подоконнике кусочек сахара, потому что ему не хотелось радоваться миру Глоггница в

одиночестве, вот он и клал на подоконник кусочек сахара, чтобы прилетел аист и принес ему братика или сестричку. Имя он уже придумал.

За окном поезда промелькнул дорожный указатель с надписью «Глоггниц». Во всех путеводителях значилось, что этот городок привлекал туристов «южной атмосферой», а Франц возмущался, до чего же не любят холод и зиму его соотечественники. Он давно полюбил все времена года и терпеть не мог людей, дрожавших и поеживавшихся рядом с ним, словно это от него исходит холод. Он не выносил людей, которые круглый год мечтают о пальмах и южных пляжах и только о том и думают, как бы уехать из родных краев и от него, Франца, и притворяются, будто вот-вот замерзнут.

Выпал снег. Из всех первых воспоминаний дороже всего ему были, наверно, первая земляника и первый снег. Тосковал он по пальмам, а ностальгию испытывал по снегу. Он разрывался между морозными цветами на стекле и пальмами. Еще один симптом шизофрении — он не мог выбрать.

Он так стосковался по Вене, что не поехал домой, а остановился в отеле и стал из окна смотреть на возившихся внизу людей с лопатами для уборки снега и ломами для колки льда.

Из окна отеля он мог разглядеть фонтан, в котором в 1938 году, когда Гитлер объявил о вступлении Австрии в состав Третьего рейха, венцы от восторга купались голыми.

За оконным стеклом этот город, вечный источник его разочарований и страха, скуки, любви и тоски, а между ним и этим городом за стеклом тонкая решетка из прочного металла, наверно, чтобы нельзя было выброситься.

В Вене он побывал на последнем собеседовании в министерстве на Бальхаусплатц, а потом должен был лететь в Гавану, чтобы подготовить там визит делегации австрийских писателей. Ему предстояло повсюду сопровождать их и снимать для архива.

Кроме Фридерики Майрёкер[38] и Эрнста Яндля[39], он не знал никого в списке, который изучил вместе с министерским советником Смолкой. А потом улетел.

II

1

Он хотел пробыть там по крайней мере месяца три. Для начала в отеле «Инглатерра».

Преисполненный симпатии к кубинцам и кубинской революции, Франц приземлился в аэропорту Хосе Марти. Виски тоже подогрел эту симпатию.

Имя Фидель звучало как-то по-особенному, но Кастро был назван всего-навсего в честь святого Фиделиса Зигмарингенского, давным-давно убитого разъяренными крестьянами-кальвинистами в захолустном Чуре[40], а в девятнадцатом веке причисленного папским министерством пропаганды веры к лику святых и объявленного святым заступником этого диоцеза Вселенской Римской католической церкви; в честь Фиделиса, святого покровителя контрреформации и всех контрреволюционеров. Правда, Фиделис был причислен к лику святых лишь после смерти, тогда как Фидель Кубинский еще при жизни, да к тому же канонизировал себя сам. Кто знает, может быть, Кастро полагал, что обязан хранить верность своему имени, словно поклялся быть достойным своего небесного заступника.

«Единственное, в чем я до сих пор твердо уверен, — так это в том, что не уверен, что же мне больше нравится: пальмы или морозные цветы на окнах», — думал Франц. Подлетая к Гаване, он смотрел в иллюминатор, на котором только что отцвели морозные цветы, самолет был старенький, словно из той далекой эпохи, когда двойные рамы и центральное отопление еще не лишили его возможности любоваться морозными цветами на окнах квартиры на Штубенринг, и тут увидел первую пальму, высокую и величественную. В это мгновение он вспомнил о писателе, которого ему однажды пришлось фотографировать, — тот подписывал свой толстенный роман «Тоска» — книгу о ста самых красивых пляжах в мире.

От Кубы Франц ожидал многого. Он думал, что сможет еще раз начать все заново. Но потом стал подозревать, что жизнь его не задалась с самого начала, а не только сейчас.

Не задалась с самого начала… Не задалась с самого начала…

Как и в детстве, Франц засыпал в самых неподходящих местах, ненадолго, на секунды. В мире, где ему выпало жить, слова-стимулы «ложь», «лжец», «лгать», «врать» неизбежно и настойчиво погружали его сознание в некое подобие тягостного

сна, так что он на мгновения переставал различать, где он: здесь или там, в Вене или на Кубе. То ли это мечтательность, то ли шизофрения… Если бы Франц был святым, богословы стали бы утверждать, что он обладает способностью находиться одновременно в двух местах. Большинство психиатров сказало бы, что он обнаруживает легкую склонность к шизофрении. Ведь психиатрам только дай сон, так они примутся его анализировать и что-нибудь в нем да найдут. По их мнению, сновидения существуют только для того, чтобы переработать дневные впечатления. В представлении психиатров человек — это машина. Машина, которую исследуют психиатры. Психиатры обслуживают эти машины, как автомеханики. Теперь, в Гаване, Франц думал, что до сих пор жил как-то по инерции, ни в чем до конца не разобравшись и уж точно не переработав ни одного впечатления.

Это произошло на пляже имени Патриса Лумумбы, на западной окраине города, собственно, даже и не на пляже, а на узкой полоске песка у моря, куда разрешалось приходить и кубинцам, которым был закрыт доступ на большинство пляжей и на все без исключения острова. Франц знал, что на этот убогий, засыпанный мусором и осколками раковин клочок земли у моря, по которому нельзя ходить босиком, кубинцы приходят, чтобы вглядываться в далекую Америку под неусыпным надзором людей в униформе, с автоматами и переносными рациями.

У него были все основания полагать, что началась его вторая весна. Разве он только что не прочитал в самолете свой гороскоп, где было написано, что вскоре ему предстоит встреча, которая изменит всю его жизнь? Все еще раз начнется сначала. С яблока, с Адама и Евы. Вот только яблок здесь нет. И снега, который превратил бы тебя и меня в зимнюю сказку.

Это было начало декабря. Какая-то женщина, проходя мимо, спросила: «How are you?»[41]Франц, уже успевший в тот день порядком об этом поразмыслить, так и не придя ии к каким выводам, поднял глаза и почувствовал, что вопрос застает его врасплох. И сразу понял, что эта женщина может сделать с ним все что угодно, и страстно захотел оказаться в ее власти. Он уже сдался, внутренне согласившись с тем, что эта женщина отныне будет вертеть им, как хочет. Это по-прежнему было в его характере. Куда ему до любого бразильского уличного торговца. А тем более до водителя-дальнобойщика, перевозящего свиней из Польши в Роттердам.

How are you?

Откуда ему знать.

Он не умел сопротивляться по-настоящему, ну просто не умел. Но и жить в гармонии с миром тоже не умел.

Собственно, он всегда хотел только одного — жить в ладу с собой и с миром. «Веди себя как профессионал! — наставлял он себя, а потом добавлял: — Не упусти ее!» Она улыбалась так, что он просто не в силах был и не хотел сопротивляться.

«Мне ничего от тебя не нужно, я только хочу помочь тебе и вот спрашиваю, что подарить тебе и твоей матери: туфли, лекарства, еще что-нибудь или, может быть, дать немного денег?» — думал он, вроде бы движимый любовью к ближнему, а на самом деле одолеваемый самыми прекрасными и самыми непристойными образами и картинами, в которых только может исповедаться католик. *Путь от того, что в голове, к тому, что в штанах, был очень короток, да что там, расстояние практически отсутствовало.*

Но Франц не знал наверняка, что ей нужно. Вначале их разделял океан. Недоразумения, когда она говорила одно, а имела в виду что-то совсем другое. Когда он говорил одно, а имел в виду… Именно культурный барьер приводил к тому, что он не мог понять, кто она, а она не могла понять, кто он… Она же не проститутка. А он не святой. И не турист в поисках сексуальных развлечений. Он просто чего-то искал. Только что прочитал свой гороскоп и не поверил в него. Он все еще хотел спасти если не весь мир, то по крайней мере одного человека. Может быть, присутствие этой женщины делало его, нерешительного и робкого, одновременно и святым, и развратником. И если бы она оказалась прекрасной грешницей, то он принял бы в ней участие, как Мармеладов и другие персонажи Достоевского, испытывавшие жалость и сострадание к падшим женщинам, женился бы на ней и ввел бы ее в высшее общество Вены. Перед его внутренним взором немедленно предстала картина: они выходят из церкви Святого Креста, она *в белом, с букетом в руках,* [42] и он теперь навеки принадлежит ей. Франц никогда не умел отделять свою тоску от похоти. Одно переходило в другое.

Вскоре он сказал, что она всегда может на него рассчитывать. Он и в самом деле так думал и в мечтах уже видел себя у банковского окошечка в отеле «Севилья», где получал для нее доллары по кредитной карточке. Хватит и на витамины, и для ее матери. И на новый *топ.* Для начала сто долларов. На Кубе это составляло полугодовую зарплату. Но это вовсе не означало, что он платит ей, как клиент проститутке. Может быть, он готов был уверить себя в том, что хочет помочь ей из чистых побуждений. А жизнь снова и снова доказывала, что он мало что может.

Но если нужда действительно заставляет ее продавать свое тело, то он готов купить ее, чтобы спасти. Он был диалектик.

Не успел он прилететь в Гавану, как уже раздавал

стодолларовые купюры музыкантам, а с еще большим воодушевлением опускал их за декольте музыкантшам, которые бродили по городу и зарабатывали на жизнь, распевая «Reloj поп marques las horas» («Часы, не показывайте время!»). А если бы у него не оказалось с собой денег, он привел бы их к банковскому окошечку отеля «Севилья».

Невдалеке сидел мужчина, вместе с которым она загорала. Может быть, он был чем — то вроде прикрытия, ведь на кубинском пляже, куда приходили и туристы, за спиной купальщиков вечно маячила военная полиция, а в ее полномочия входило забирать девушек, появлявшихся там без спутников, и отправлять их на уборку сахарного тростника в трудовой исправительный лагерь в провинции. Поэтому все девушки приходили на пляж в сопровождении молодых людей и делали вид, будто это их возлюбленные или женихи. Автоматы, любовь с первого взгляда.

Так это началось, с того первого безмолвного взгляда…

Он распахнул дверь, и любовь началась с первого взгляда.

— What's your name?[43]

Она села на песок рядом с его шезлонгом — наверное, это произошло, когда страж порядка на минуту отвлекся, — который он в этот чудный день взял напрокат вместе с тентом. Шезлонги и тенты предназначались немногочисленным туристам, случайно забредавшим на пляж.

Он не мог оторвать глаз от ее слегка выцветших купальных трусиков с тигровым узором.

— I am Ramona.

— I am Franz.

— Where are you from?

— Austria.

— O, kangaroos.

— No, mountains[44].

Она еще спросила, который час, и это показалось ему странным, потому что у нее были часы на руке. Но они оказались игрушкой. Часы с самого начала показывали одно и то же время.

Вокруг в узких, облегающих купальных костюмах, без всяких тентов лежали кубинцы.

«Жаль, глобализация привела к тому, — думал Франц, — что постепенно весь мир стал носить одни и те же купальные трусы, длинные, как в Америке, и теперь беднягам, которые и так в жизни видят немного, вообще не на что посмотреть. Но на Кубе все по-другому».

Как ни странно, здесь выставляли на всеобщее обозрение почти все. Ощущение как тогда, в первый раз, в купальне.

Он не отрываясь смотрел на ее недоступное, манящее тело, соблазнительно обрисовывавшееся под купальником-стретч из полиэстера. И сразу же подумал: «А вдруг это любовь?» Снова посмотрел на часы… «reloj поп marques las horas». Его часы показывали уже половину четвертого. А вдруг она из комитета государственной безопасности? И полиция поручила ей за ним следить? Но в конце концов похоть все-таки возобладала над страхом.

Не пройдет и двух часов, как он, упрямо повторяя «я ее не люблю», кинется из лифта отеля к себе в номер, чтобы посмотреть в ежедневнике, через сколько дней, часов и минут он увидит ее снова.

Он уже мог бы сказать о себе: «Я схожу с ума, я пылаю». И пылал легко и красиво, как костер на пляже во время праздника с музыкой и поджаренным на углях мясом асадо. А внутри у него все раскалялось, как магма в недрах Земли. Патрульный в униформе опять подошел к ним подозрительно близко. Она встала и направилась к своему спутнику, сделав вид, будто только что вышла из воды.

В какой-то момент, когда надзор ослаб, они снова смогли поговорить. И условиться о встрече. По-английски. По-английски они могли сказать друг другу не много. Вот разве что «вечером, в Центральном парке, между отелем „Инглатерра" и отелем „Плаза"»…

Она хотела прийти со своим «голубым» другом, на которого показала издали и который все это время смотрел на них и молча улыбался, — Ренье пришел с ней на пляж, насколько он понял, чтобы обмануть бдительность полиции. Он был довольно смуглый, со слегка вьющимися волосами и белоснежными зубами.

Слова «gay friend»[45] Франц истолковал так: Ренье лежит рядом с ней для прикрытия, и они только притворяются любовниками. Красивыми любовниками. В Гаване часто притворялись любовниками, чтобы сохранить декорум. Множество таких парочек облюбовали бульвар Хосе Марти, бетонные парапеты набережной Малекон и площадь перед отелем «Инглатерра», где они сидели в ожидании клиентов. Иногда это действительно были любовники.

Люди, гнездившиеся на этих скамейках и парапетах, жили в яркой тропической тюрьме, в вольере под открытым небом, чем-то напоминавшем ГДР. Они надеялись на мирную революцию, на то, что Кастро когда-нибудь заснет и больше не проснется. Об этом Рамона сказала ему в первый же день знакомства. Тогда он еще почти не понимал по — испански, но догадался, что все эти

несчастные люди мечтают, чтобы великий лидер поскорее заснул и больше не проснулся.

Маринелли, живший как раз на той площади, где предложила встретиться Рамона, — еще одно доказательство того, что это не случайное совпадение, а воля судьбы, — не мог дождаться вечера. Время от времени ему начинало казаться, что она вообще не придет. Но в одиннадцать часов они сидели на скамейке и ему казалось, что сбылись самые прекрасные его мечты.

И тут же решил жениться на Рамоне, купить дом…

Рядом с ними по-прежнему сидел ее красивый друг, по-видимому дожидаясь, когда его снимет какой-нибудь гей, а им в Гаване приходилось особенно туго. Так они сидели и служили прикрытием друг другу… Рамона уже нашла того, кто подарит ей средство для выпрямления волос и «Шанель», а у Ренье все еще впереди. Пальмы были близкими и осязаемыми, как у бассейна кисти Дэвида Хокни[46], но жизнь — беспросветно черной, как в романе «Пока не наступит ночь» Рейнальдо Аренаса[47].

Кастро называл личностей вроде них «lacra social»[48], сажал в поезд и отправлял в специальные исправительно-трудовые лагеря в провинцию, на уборку сахарного тростника, а по вечерам Кастро развлекали новыми анекдотами о «голубых», в которых основная роль, такая же, как в других краях бананам, отводилась туземному сахарному тростнику. Но поскольку никто не знал, где и как Кастро проводит вечера, это тоже был всего-навсего миф, и что он иногда смеется — тоже миф, и что он вообще еще жив — тоже. В тот год, когда произошла революция, Кастро было столько же лет, сколько Иисусу, когда того распяли. Может быть, Кастро уже давным — давно умер?

Сначала они безуспешно искали подходящее место. Их не пустили бы ни в один гаванский отель, да и к тете Эльвире они пойти не могли, ведь там жили десять человек, ну, совершенно незнакомых, все вместе в одной квартире, в том числе тетка из Комитета по защите революции, КЗР, сплошь люди, которые, как говорила, Рамона, могли ее выдать. И вот в поисках укромного местечка они бродили по центру города до половины второго ночи, пока наконец не нашли подходящий подъезд с оголенными электрическими проводами на полу, и Рамона то и дело повторяла: «Осторожно!»

Это произошло в подъезде неподалеку от Каса де Рон-и-Табакос.

Любовью они занимались стоя.

Потом Франц дал Рамоне сто долларов — подарок для матери, которая произвела на свет такую красавицу. И втайне возблагодарил Бога за то, что Он создал такое чудо. А Ренье

караулил у входа, где днем сидит тетка из Комитета по защите революции, следит за всеми и сообщает о любых происках контрреволюционеров по переносной рации.

Она томно, как во сне, повторяла «si» и «baby», и легкость этой любви, реальная или воображаемая, составляла разительный контраст с венским нагромождением лжи, какой впервые предстала любовь Францу Маринелли.

Она проворно обернулась и поцеловала его, это было как жизнь, прекрасная, короткая, мучительная и непостижимая, — обернулась, стоя на ступеньку выше, и произнесла: «banana», — а потом спустилась первой, ведя его за собой, потому что знала дорогу. Тогда им еще не нужно было разговаривать, хватало простых слов, например «banana», «где» и «когда».

Фотографии!

На одной из них Рамона на Плаза де ла Катедраль записывает в его дневнике текст песни «Reloj», и в то мгновение, когда он ее сфотографировал, как раз дошла до слова «acaba», до последней буквы «а», которую теперь вечно будет вписывать в его дневник:

> Reloj поп marques las horas
> reloj reten tu camino
> porque mi vida se acaba. [49]

Но разве он прилетел сюда не для того, чтобы подготовить официальный визит делегации австрийских писателей? Он почти забыл об этой нелегкой и, разумеется, малоприятной задаче.

Визит писателей, с особым тщанием отобранных в министерстве, должен был состояться в феврале, когда еще нет изнуряющей жары. Значит, у Франца пока уйма времени.

Но он так ничего и не подготовил.

2

В постели она, положив голову ему на живот, медленно поглаживала отзывчивые участки его тела, словно не знала, чем бы занять руки, или что-то искала, а Франц тем временем развлечения ради читал ей вслух статью из журнала «Штерн» о разоблачении чьих-то финансовых махинаций: «Не тесно ли членам правления в узких рамках закона?». Ее забавляло, как звучит немецкий язык в устах венца. Ей нравилось. Звучит ничего себе, приятно.

Ей было любопытно, как переводится заглавие. Франц попытался объяснить. Но она все неверно истолковала и тут же

попросила для своего приятеля-гомосексуалиста презервативов размера XXL. В следующий раз Франц обещал принести большую упаковку.

Иногда, глядя на Ренье, он думал, что «голубой» дружок не такой уж «голубой», но потом отгонял эти мысли. Она рассказала ему, что Фидель, как только появился СПИД, заказал в Китае крупную партию презервативов. Но потом Куба отказалась от этих поставок — презервативы были слишком маленькие. «Для Китая в самый раз, а вот для Кубы не годятся», — заключила она.

Вскоре они задумали пожениться. На третий же день знакомства им пришло в голову *недорого* купить домик в центре Гаваны. Он был в восторге. Предстояло еще откормить двух поросят, без которых не обходится ни одна свадьба, а это было уже особо тяжкое по кубинским законам преступление.

Спустя неделю после знакомства с Рамоной Франц переехал из дорогой «Инглатерры» в «Довиль», отель подешевле, к тому же находившийся прямо на набережной Малекон, и теперь у него оставалось для Рамоны больше венских денег. Кроме того, Рамона знала в «Довиле» одного охранника и могла за взятку в двадцать долларов ночевать у него в номере.

Еще через неделю они нелегально купили у ее родственников в деревне под Сьенфуэгосом[50] двух поросят. Решено было сыграть свадьбу, когда поросята подрастут. Складывалось впечатление, будто свадьба зависит от роста поросят. За двух поросят Маринелли, совершенно не разбиравшийся в свиньях, заплатил целое состояние. Ему сказали, что поросята стоят три тысячи долларов, а семья Рамоны потом смогла купить на эти деньги квартиру. Поросят временно устроили у Рамоны, в закутке под лестницей, за невысоким кухонным шкафом, да еще на этом шкафу хватило места для двух электрических плиток.

Пока поросята не вырастут, Рамоне придется постоянно включать музыку на полную громкость, так как частный откорм свиней был запрещен и сурово наказывался: за убийство, совершенное впервые, полагалось три года тюрьмы, за впервые откормленную свинью, подумать только, — восемь. Тем не менее крыши Гаваны были самой большой свинофермой в бассейне Карибского моря.

Когда до завистливых соседей доносились странные звуки и запахи, возникали неприятные ситуации. Да и от самих свиноводов — любителей требовалась немалая сила воли и упорство, чтобы выдержать хрюканье и вонь.

Вскоре, чтобы показать поросят и познакомить с матерью, Рамона привела его к себе в квартиру, где жила, мечтала и росла во сне, как все дети. Комната, в которой она обитала с бабушкой,

матерью и тетей, была так мала, что о ней и сказать нечего: единственной ее достопримечательностью оказались ярко-розовые часы в форме сердечка. Стрелками на них были маленькие стрелы Амура, причем минутная всегда обгоняла часовую.

Эта удивительная квартира представляла собой часть отгороженного и заложенного кирпичом подъезда, с лестницами, которые никуда не вели, внезапно обрывались, были обустроены под квартиры и до потолка заставлены скарбом жильцов. Площадь составляла примерно пятнадцать квадратных метров, и это при высоте потолков восемь метров. Но благодаря таким высоким потолкам Рамона и ее близкие выгадывали немного места, словно жили на отвесном склоне в Альпах. Таких квартир Франц никогда не видел. Здесь начинала кружиться голова. Потому что, кроме лестниц, на которых можно было бы сидеть, если бы они не были заставлены хламом, так что по ним и ходить-то можно было едва-едва, здесь еще лепились одна над другой две-три встроенные койки. «Немножко похоже на катакомбы, — думал Франц, — или на колонию пиратов на Южных Андаманских островах». Вот так жили в центре Гаваны на сороковом году революции.

Бабушка еще верила в Бога. Она была родом из провинции Холгуин и поселилась вместе с мужем на черной лестнице заброшенного городского дома, владельцы которого бежали в Майами. Она совершенно не боялась, что доживет до тех дней, когда явятся наследники из Майами и потребуют назад свое имущество. На этой бывшей черной лестнице она прожила свои самые прекрасные дни. Здесь были зачаты и родились все ее семеро детей. А сейчас ее, подопытного кролика, еще раз на несколько дней отпустили домой из онкологического отделения больницы с такой чудной, по мнению обследовавшего ее профессора, опухолью, что он просто нарадоваться не мог, — есть на чем студентов учить. Ведь студентам-медикам в Гаване тоже необходим живой наглядный материал. В остальном это тело уже списали со счетов, хотя оно до сих пор принимало пищу. Еду в больницу должны были приносить родственники, они ведь по-прежнему любили бабушку. «Мы делаем все, что в наших силах», — говорили им. Но уже спустя несколько дней онкологу больше некого было демонстрировать.

Вот ведь как бывает: приехала из деревни и умерла в городе.

Возможно, больше всех повезло поросятам, ведь они могли просунуть рыльца между ступенями лестницы.

На улице шел дождь, проезжали редкие машины, исчезавшие в сумраке.

В этой комнате, своими устремленными ввысь линиями напоминавшей готический собор, обитали Грасиэла и Роксанна, изредка ночевали Ольга и Лидия — женщины с пышными именами. Иногда сюда, наверно, захаживали и мужчины. Мать была ровесницей Франца.

Грасиэла в латексном костюмчике-стретч гнездилась на узенькой крутой стремянке, которая вела к ней в чуланчик, встроенный под лестницей между вторым и третьим этажами. Это была ее спальня. А над ней еще одна… Постепенно он стал догадываться, что под эту квартиру когда-то, наверно, приспособили черную лестницу, потому что в стенах можно было различить заложенные кирпичом двери. А за ними одна над другой теснились постели, в которых никто не спал в одиночку. В Гаване ни у кого не было недостатка в сексуальных партнерах, все с кем-то спали, впрочем, любовью нередко занимались агрессивно и грубо.

Тут мать, до сих пор не проронившая ни слова, сказала: «Я каждый день молю Бога послать *ему* смерть, но Он меня не слышит». Рамона хотела зажать ей рот — вдруг услышит кто-нибудь из домового комитета по защите революции, но не успела. Впрочем, женщину за контрреволюционные высказывания могли всего-навсего поместить в психиатрическую больницу, где она роптала и роптала бы на судьбу, медленно сходя с ума.

Франц сидел на одном из двух стульев. Это женщины настояли на том, чтобы он сел. Он курил принесенную с собой сигару «Монтекристо 4» — в Вене она стоила столько, сколько кубинец зарабатывает за два месяца, — и рассматривал поросят, которые выглядывали из-под лестницы. На каждого приходилось по два глаза и одному пятачку. Франц смущенно посматривал то на этих тварей, то на часы, повторяя, что ему все здесь нравится, но вдруг три эти женщины ему не поверили? Он подозревал, что они втайне гордятся и часами, и идеальным порядком, в котором, при такой-то тесноте, содержат свои лестницы. Это ведь и правда куда труднее, чем создавать видимость порядка в большом доме, таком, как, например, у них в Вене, где кое-как убирали только парадные комнаты. Где-то за парадными комнатами библиотека, куда не заглядывали ни его родители, ни друзья, превратилась в помойку — хоть распахивай дверь и кидай туда мусор. Зарядил дождь. Явилась незваная соседка и, прислонившись к двери, доверчиво смотрела на гостя, о приходе которого уже знал весь подъезд: вдруг он и ей принес какой-нибудь подарок, хотя бы новую краску для волос. Она застенчиво посмеивалась в ворот рабочего халата, своей единственной одежды, которую она носила и вечером, по окончании службы, и которая была

безукоризненно вычищена. Белый рабочий халат, в Вене такие носят горничные. А еще она прикрывала рот рукой. У нее не хватало двух зубов, по одному слева и справа. Поэтому ее красивая улыбка была несовершенной.

Они предложили ему один из двух стульев, больше им нечего было предложить. Они, разумеется, сварили бы ему и кофе, но электричество, как назло, позавчера отключили. Стул — так мало и так много.

Потом они еще три часа просидели на парапете Малекона, молча смотря в пустоту. А Франц размышлял, как же ему спасти мир.

В странной, нищенской квартире Рамоны отель «Довиль», где придумали танец ча-ча — ча и где они хотели выпить по бокалу «батида де коко»[51], казался чем-то нереальным, вроде миража, а Малекон — сияющим чудом, как в лживом фильме «Виепа Vista Social Club»[52]. Возможно, Рамона через силу заставила себя показать ему свой дом, чтобы выпросить у него еще немного денег.

А ведь деньги у Франца постепенно кончались. Он заговорил о своей финансовой несостоятельности и, чтобы она лучше его поняла, употребил слово латинского происхождения «Insolvenz»[53].

В доме напротив, в такой же нищете и убожестве, всю жизнь прожил любимый писатель Франца. Поросята из своего закутка могли бы прочитать памятную доску, на которой было выгравировано: «В этом доме до конца своих дней жил великий писатель Хосе Лесама Лима»[54]. Дом писателя, где он сочинил роман «Рай», ничем не отличался от соседних домов. По крайней мере снаружи он был такой же, как и все остальные. Мемориальная квартира — на первом этаже, сквозь зарешеченные окна можно разглядеть дыры в потолке. Такой пейзаж из пятен и дыр. Франц, проходя по нескольку раз в день к Рамоне и от Рамоны мимо этих окон, мысленно салютовал писателю. Из окна Рамоны виднелся почтовый ящик, связывавший Лиму с внешним миром.

Ведь часто за совершенно невзрачными стенами происходит что-то необыкновенное, вот, например, совсем рядом человек написал книгу, за которую ему не дали Нобелевскую премию.

В магазинах почти ничего не было — ну, дыни, бобы.

А кубинской кухни — в отличие от райской книги Лесамы Лимы, где описываются и поглощаются главным образом изысканные и тонкие кушанья, ведь его роман можно считать поваренной книгой, сочиненной человеком, который еще помнил о «любимых блюдах», — в действительности уже не существовало,

как и рая. Потому Лесама Лима и сочинил эту книгу, и дал ей такое название. Продавались только черные и белые бобы. А Лесама Лима был ужасно толст, и все время хотел есть, и посылал жену стоять по полдня в очереди за половинкой цыпленка, а сам за это время успевал еще чуть-чуть продвинуться в работе над книгой. И получал полцыпленка в награду. Собственно, «Рай» — это поваренная книга, написанная человеком, который все время отчаянно хотел есть и от этого умер.

За сорок лет революции традиции кубинской кухни совершенно забылись. И все оттого, что всем выдавалось одно и то же, что-то, как правило, непонятное с преобладанием бобов-фаситос — сразу и не поймешь, сладкое или кислое, теплое или холодное. Вот только сахара было вдоволь, а еще рома и сигар, но и за этими символами утраченного рая приходилось стоять в очереди. А еще у них был холодильник. Но теперь Франц и думать забыл о своих любимых блюдах, ему хватало Рамоны.

Выпив по бокалу «батиды де коко» в «Довиле», они вернулись к ней и снова легли в постель. Больше всего они любили эту постель за то, что в ней можно лежать. Тем более что сидеть было не на чем. Маринелли спросил Рамону, снова положившую голову ему на живот как на подушку, читала ли она «Рай». Нет, еще прочитает, успеется. Сейчас у нее нет времени. Мать Рамоны знала Лиму стариком, он часто сидел на пороге, опираясь на палку, внешне ничем не примечательный, тучный и неподвижный, а она, тогда еще совсем крошка, обычная гаванская девочка, резвилась где-то поблизости, во дворе. «Мы все его знали». Наверно, она тоже попала на страницы «Рая».

Потом они перешли к нему в «Довиль», и она полулежала в белом махровом халате в номере на пятом этаже отеля, прислонившись к изголовью кровати, и излучала смуглым телом такую жаркую любовь, что он физически ее ощущал и любовался отражением Рамоны в зеркале.

Оказалось, что он действительно ее любит.

Прошел уже почти месяц, а он палец о палец не ударил. Ни на один факс, пришедший в отель, он не ответил. Постепенно в его прекрасном сне засквозили тени кошмаров.

Почти каждый день они на такси ездили на пляж имени Патриса Лумумбы.

Давай чуть-чуть пройдемся по берегу…

Скоро ему придется встречать в аэропорту делегацию австрийских писателей и показывать им Кубу. До начала мученичества остается еще месяц. На обочине Малекона какой-то негр продавал не новые, но чистые трусы фирмы «Кельвин Кляйн»: озираясь, достал из полиэтиленового пакета и предложил

Францу Маринелли.

Ему вспомнились его старые купальные трусики со значком сдавшего нормативы по плаванию вольным стилем и по комплексному плаванию — две волны на голубом фоне, — теперь он пожалел, что не знает, куда они делись вместе со всеми этими годами, ведь были же они? Или нет?

Назавтра они собирались перенести поросят на новую квартиру.

3

Без сомнения, он выбрал Кубу еще и из-за сигар. Каждый день он курил свои любимые гаванские сигары, иногда в перерывах между объятиями; если сигара гасла, Рамона брала ее, глядя ему прямо в лицо, и снова прикуривала, а Франц в это время ее фотографировал.

Он хотел фотографировать только Рамону, и ничего больше.

Теперь они поселились в старом городе, на верхнем этаже, в квартире с дверью, выходящей на крышу-террасу, где поросята росли так быстро, что Франц стал их побаиваться. Перед жизнью он был беспомощен, как перед морем.

В свой сороковой день рождения он наконец-то начал серьезно изучать испанский. Его двадцатилетняя учительница лежала на нем обнаженная и заставляла его повторять за ней слово «corazon»[55]. Такое коварное слово, нечестно с него начинать, его было трудно произносить еще и потому, что он почти задыхался от страсти, ведь она была так близко. Рядом с ним лежала женщина, которая записала у него блокноте: «I will wait for you all my life and today for your call at 7.30 — Ramona»[56].

Ему казалось, что до сих пор в его жизни не было ничего, кроме мелькания машин, запаха бензина, серых бетонных построек, какой-то ненужной, пустой суеты. Ничто в прошлом не имело смысла.

Но теперь все было легко и несказанно прекрасно. Вот только он не знал, как об этом сказать по-испански.

Ноутбук лежал на постели, ведь стола не было, а старый, завывающий кондиционер не работал, потому что в розетку он включил ноутбук. Только в постели он мог писать — вести свой кубинский дневник. Рядом лежала Рамона, обнаженная, еще дремлющая, и у него были все основания полагать, что началась его вторая весна. *Единственная и неповторимая* весна или *его* весна, безразлично, как назвать ее в рукописи. Ее тело было для

него неиссякаемым источником вдохновения, и, любуясь им, он легко, без усилий сочинял целые фрагменты текста, которые тут же переносил в компьютер.

Город был серый, ни бугенвиллей вдоль стен, ни листьев дикого винограда, размером с фиговый лист, на стенах. Цвели не растения, а люди.

Поначалу любовь к Рамоне была могущественной стихией, и он боялся, что она его погубит. Но вскоре это чувство стало привычным, тем, до чего можно было лениво дотянуться, как до дешевой сигары или пластиковой бутылки с минеральной водой. Теперь его музами были сигары, минеральная вода, Рамона под боком и воспоминание о том, как это произошло в первый раз в темном подъезде на улице Калле Обисбо, в здании Комитета по защите революции в историческом центре Гаваны, и вот уже чудно запели петухи, которых он не слышал целую вечность, подумать только, это в Гаване-то, в городе его мечты, и море было совсем близко, рукой подать.

Только яблок не было. Яблоки были райским плодом, которого на Кубе не водилось. Яблоки были кубинскими бананами, а снег — сном, погружаясь в который затихает весь мир, и мы с тобой под одним одеялом тоже.

Все было не совсем так, как в первый день.

Но они снова и снова просиживали ночами до рассвета на скамейке в парке между отелем «Инглатерра» и отелем «Плаза», тесно-тесно прижавшись друг к другу, и поэтому стражи революции не замечали, что Франц — иностранец, которому запрещено обниматься с кубинками.

Разбуженная доносившимся из-за стены шумом, особенно когда по соседскому телевизору раздавался выстрел и кого-то опять убивали, она, не открывая глаз, томно мурлыкала «бэби» и снова засыпала. Несомненно, на свете существовали и другие красавицы, именно в этот миг мурлыкавшие «бэби». Вероятно, таких были тысячи. Но он был единственный, кто это слышал.

Кубинцы по-прежнему просиживали по полночи на пороге своих домов, одни — чтобы не мешать любящим, другие — потому что у них не было телевизора или он опять сломался.

Жизнь в Гаване теперь не была таким блаженством, как вначале, когда он впервые увидел, какие старые здесь телевизоры, какое нечеткое изображение и какие довольные зрители. Он уже порядком насмотрелся квартир, обитатели которых только что не молились на телевизор, обрамленный, как центральная часть алтаря, фотографиями Че, а то и Кастро, а еще изображениями Мадонны и святого Лазаря, вселявшего надежду в тех, кто утратил все, даже самих себя. Вот ведь Лазарь умер, а

потом…

И все это в Гаване, городе, который неизбежно накладывал на тебя свой отпечаток, в Гаване, некогда белой и темно-розовой, а теперь серой, как Хузум, и даже еще серее. Только по вечерам, примерно в то время, когда «заря золотила ясных небес края», как в «Голубке»[57] пока еще не совсем стемнело, в Гаване, лежащей в руинах, словно после бомбардировок, пробуждалась жизнь: выжившие возвращались и сколачивали из досок, найденных в развалинах, какие-то домишки, и вот уже что-то неожиданно расцвело, и появились на улицах стайки девушек, соблазнительный наряд которых можно было извинить тем, что им больше нечего надеть, и тем, что Гавана еще живет.

Тем временем свиньи еще подросли, тихие, не доставлявшие им с Рамоной особых хлопот, поскольку были привязаны синтетическими шнурами к водопроводной трубе и получали седативные препараты, похоже содержащие еще и гормоны роста. Развивались они хорошо.

Но вначале переезд на крышу-террасу был сопряжен с некоторым риском. Лидия из Комитета по защите революции весь день напролет просиживала на стуле у подъезда и могла что-то заподозрить. Тогда-то Рамона и вспомнила, что Франц привез из Вены давно просроченные седативные и болеутоляющие средства: они усыпили свиней убойной дозой лекарств и в корыте, прикрытом пальмовыми листьями, отнесли наверх, на крошечную плоскую крышу, в уголок, куда никто не мог заглянуть. Зато Маринелли с этой крыши-террасы мог окинуть взглядом Гавану, неподвижную, неизменную, словно спящую и придавленную тяжелым сном.

Если бы стражи революции, неусыпно патрулировавшие улицы с 1961 года вкупе с домовым отделением Комитета по защите революции, узнали про свиней, то забрали бы одну в качестве отступного. Вероятно, свиней давным-давно обнаружили. Скоро выяснится, какую долю они потребуют.

Свиней держали в закутке размером с детскую кроватку, а когда их кормили, Рамона включала телевизор на полную громкость; впрочем, он и так целый день работал. Чаще всего послушные и воспитанные свинки спали. А в Гаване все равно некуда было деться от шорохов и запахов.

Свиньям каждый день подкладывали в корм по таблетке из большой упаковки, два года как просроченной. Иногда они даже на корм не реагировали или засыпали, поглощая еду. Две таблетки этого седативного препарата, согласно аннотации, вызывали остановку сердца. Поэтому свиньям давали в день по полтаблетки и они «вели себя безупречно», как выразился бы

Генри. Так свиньи и росли, не подозревая, что близится час их заклания, когда «они будут совсем болыпенькие», как выражаются свиноводы в Тироле. А молодые петушки радостно кукарекали под утро, словно у них тоже вся жизнь впереди.

«Мы все хотим быть как Че!» — прочитал Франц транспарант на крыше отеля «Гавана Либре», гигантский, написанный двухметровыми буквами, как в соборе Святого Петра в Риме: «Ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою».

До Франца у Рамоны был друг, о котором она много рассказывала.

Впрочем, ее возлюбленный, отправившись в утлом суденышке на север, в землю обетованную, пропал без вести в море; «то ли умер от жажды, то ли утонул», — говорила она. «Я вызову тебя», — пообещал он ей. Эротические подробности этого романа она давным-давно забыла, осталась только сентиментальная грусть.

«Если бы он погиб, то послал бы с того света весть, ведь мертвые на Кубе не под надзором», — говорила Рамона, последовательница секты Сантерия[58].

Маринелли смотрел, как Рамона взяла банан на завтрак, заглянула к свиньям, задумчиво понаблюдала за ними, не переставая чистить банан, и, поглощая его красивым ртом, тоже размышляла о бегстве отсюда, от *него*… Она повторяла «бэби», как его мать повторяла «врет».

Она чистила банан и раздумывала, как бы убежать в Америку.

4

Францу пора было выходить — встречать делегацию венских писателей: уже вечер, пять минут восьмого. Сейчас эта делегация подлетает к Гаване, самолет, может быть, уже снижается, писатели, предвкушая первую сигарету, собирают свое барахло, а когда самолет приземлится, ne будут аплодировать, но втайне порадуются, что вот опять пронесло, легко отделались. Он тоже легко отделался, хотя ему по-прежнему приходилось объясняться с Рамоной на пиджин-инглиш. Правда, в последние месяцы они много говорили о том, что пора бы ей начать учить его испанскому, но дальше разговоров дело как-то не шло. А он невольно вспоминал о ее предшественницах, ведь в том, что он расставался с ними, бывал неизменно виноват язык: Франц просто не находил нужных слов, чтобы сказать, как он их любит. Любящие всегда расстаются из-за того, что говорят на разных языках.

Франц осторожно встал, чтобы не разбудить Рамону, которая снова сонно промурлыкала «бэби», не открывая глаз, будто других слов в ее лексиконе нет, и босиком прошлепал к холодильнику с тугой дверцей. Молока на Кубе не водилось, оно полагалось только беременным. В кружку он налил какой — то фруктовый сок. Кустарная, грубой работы кружка, наверно, была родом из немецкоязычной страны, — может быть, какой-то его предшественник, поклонник, подарил Рамоне эту кружку с немецкой надписью: «Я тебя люблю». У Франца не хватало духу спросить. Теперь эта кружка влачила существование эмигрантки и рано или поздно разобьется на чужбине.

С Рамоной было уже не так, как вначале. Да и он постепенно стал засыпать в ее объятиях и бояться свиней и свадьбы, которая последует за их закланием. Он еще в Вене понял, что такое брак.

Сейчас Франц Маринелли, ночью не сомкнувший глаз, полумертвый от усталости, стоял с табличкой «Делегация писателей из Вены» в зале ожидания аэропорта Хосе Марти и, стоя, то и дело на несколько секунд засыпал.

Исполненные лучезарных надежд гости из Вены скоро пройдут через эти автоматические двери из матового стекла. У Розы Земмеринг в руках будет «Рай», который она, вероятно, читала, стоя в длинной очереди на таможенном контроле. Он знал ее, как и остальных, только по фотографиям. В Вене ему описывали ее как даму со сложным характером.

Франц торчал здесь, чтобы встретить делегацию австрийских писателей, которым он когда-то, еще в Вене, давным-давно пообещал в ближайшие дни и недели показывать Гавану. Этого ему, естественно, совершенно не хотелось. Но в конце концов они с Рамоной все последние месяцы жили на деньги, которые ему за это платили.

Для гостей из Вены уже был приготовлен автобус с кондиционером фирмы «Кубатур».

Маринелли приехал в аэропорт на такси, в коричневом костюме, в галстуке цветов кубинского флага, повязанном по здешней моде, все еще красивый, хотя и слегка потрепанный. Именно такими бывают влюбленные до безумия — невыспавшимися и утомленными. Он едва успел в аэропорт к назначенному времени: когда приземлялся самолет, он пробирался между носильщиками и их тележками, неизвестно почему опасаясь, что писатели уже прилетели и как идиоты болтаются по залу, а может быть, уже звонят в посольство, чтобы узнать, куда он запропастился.

Он не переставал надеяться, что самолет опоздает, однако больше всего ему хотелось, чтобы венцы вообще не прилетели, а

погибли в авиакатастрофе, а ему еще и заплатили бы неустойку.

Или пусть лучше остались бы в живых, ну, скажем, их похитили бы, самолет угнали, и сейчас они летят в противоположном направлении, бензина на борту еще надолго хватит, пускай, он не против. Он же не бессердечная тварь, он не такой, как они. Пусть все останутся в живых, и Рамона тоже, Рамона, в последнее время слишком часто мурлыкавшая «бэби», и писательница Роза Земмеринг, несколько недель терзавшая его факсами, звонками в посольство и электронными письмами.

Но с каждым шагом надежды на спасение таяли… Весь в холодном поту, он невидящими глазами уставился на табличку «Llega- da» — «прибытие», какое, в сущности, красивое слово…

Скоро он скажет: «Я так р-р-рад», — со старинным великосветским произношением, как некогда Клэр в фойе оперного театра, и будет, мысленно посылая к черту или куда подальше, одному за другим пожимать руку членам этой делегации, и улыбаться, смотря им в глаза, и уверять, что он рад наконец с ними познакомиться, и счастлив десять дней повсюду сопровождать их на Кубе, и сделает все от него зависящее, чтобы их пребывание здесь стало незабываемым и так далее. И, войдя в зал ожидания, он немедленно изобразил на лице смирение и покорность судьбе.

«Похвала лжецу» — вот как стоило бы озаглавить его кубинский дневник. Он хотел в последний раз осмотреть себя в зеркале, обставленном пальмами и обрамленном национальными флагами Кубы, едва нашел свое отражение на фоне пестрой суеты зала, а найдя, взглянул на себя с ужасом, словно на костюме пятна спермы, — таковы были угрызения совести, всю жизнь представавшие перед ним в зеркале во весь рост.

Тем-то он и отличался от настоящих лжецов, что лгал без всякого удовольствия. В отличие от отца он стыдился своей изолгавшейся жизни. Угрызения совести, может быть, были для Франца чем-то вроде верной подруги, которая искренне к нему привязана и никогда в жизни не изменит.

Франц был немало удивлен, поняв, что делегация сократилась до трех человек. От восьми первоначально заявленных писателей «плюс сопровождающие» остались три бледных, как снятое молоко, лица. К нему подошли только Роза Земмеринг и двое «путешествующих без сопровождающих» писателей, причем господа писатели ни эту Земмеринг, ни его знать не желали. Франц понял, что предстоят трудные дни в обществе людей, которые, как избалованные дети, ни минуты не могут побыть одни и то и дело просят чего-нибудь новенького.

А может быть, и к лучшему, что придется заниматься мерзкой

делегацией, это отвлечет его от мыслей о Рамоне и предстоящей свадьбе… Ну, вот как с болью, которую переносить легче, когда она гнездится сразу в двух местах.

Писателям были предоставлены несколько возможностей: либо встретиться с союзом писателей Монголии, либо поехать на конференцию в Бомбей и параллельно пройти курс аюрведы[59], либо совершить роскошное путешествие в города Великих Моголов[60], где туземцы улыбаются и качают головами, когда говорят «да». Но они выбрали поездку на Кубу, и все из-за фильма Вима Вендерса. А расплачиваться пришлось Маринелли.

Тем временем наступил вечер. Утром, в семь, ему предстоит завтракать с писателями (завтрак в обществе писателей, вот ужас-то, кому это знать, как не'Францу) и обсуждать культурную программу. Венцы из-за шестичасовой разницы во времени, конечно, проснутся, словно жаворонки, уже в четыре, в Вене как раз будет десять, а их коллеги-писатели только-только будут вползать в начинающийся день.

Обычно в эти ранние утренние часы Рамона сонно произносила «бэби», не открывая глаз.

И мурлыкала «банана», и томно тянулась к нему, такая красивая. А вместо этого здесь торчат трое этих идиотов из Альзергрунда[61], двое мужиков и баба, оделись, словно в тропики собираются, потеют, измученные, но счастливые, ждут, что сейчас с ними произойдет что-то яркое и необычное.

Первая, кого он вычислил, была Роза Земмеринг. Наверняка псевдоним, а на самом-то деле какая-нибудь Нудельхубер. Его еще в Вене предупреждали, какая она склочная. И он нисколько не удивился, когда именно эта тетка первой до него добралась.

А он сказал: «Я так рад! Хорошо долетели? Вы наверняка устали, сейчас поедем в отель», — и так далее, и чуть было снова не заснул.

Роза Земмеринг тотчас же отметила свое первое впечатление для досье, которое собиралась предъявить кому следует в Вене, и, чтобы все записать, сначала прошла в туалет, смотря по сторонам с невинным выражением, словно действительно всего-навсего ищет туалет, все повторяя себе под нос: «Пойду-ка я посмотрю, вдруг тушь потекла».

Если он с ними не заснет, это уже будет подвиг.

Вероятно, Роза быстро-быстро записала все, что бросилось ей в глаза: во-первых, что руководитель туристической группы еще в аэропорту, встречая делегацию, спал на ходу; во — вторых, что делегация вынуждена была сама во всем разбираться, и в-третьих, что она, Роза, взяла на себя обязанности экскурсовода и даже хотела дать остальным указания в микрофон, но он не работал.

Потом Маринелли все-таки пожалел эту тетку, признав, что она трогательно заботится о попутчиках, совершенно беспомощных, впервые пересекающих Атлантику и, наверное, не приспособленных к жизни в тропиках, а может быть, и к жизни вообще, и об их багаже, — и отметив при этом, что она время от времени посматривает на него. Он ведь слабак, а она такая ловкая и уверенная в себе. Она одна дала носильщикам чаевые, пока писатели неподвижно и безжизненно сидели в глубоких мягких креслах, тупо уставившись в пространство с таким видом, словно хотели сказать: «Мы едва долетели, чуть живы, какие, к черту, чаевые, отстаньте от нас!»

До центра города они добрались только через час, прибыли в сумерках, поэтому даже аэропорт предстал перед ними утопающим в мистическом матовом свете тропиков, а Земмеринг улыбалась. Ему сразу же стало ее жалко, и он понял, что это начало новой любви.

Сначала он про себя называл ее «эта ужасная тетка». Но она с такой готовностью бросалась ему на помощь, так трогательно заглядывала ему в глаза…

Францу вменялось в обязанности еще и фотографировать делегацию. Поручение не из легких. Они, собственно, были нефотогеничны, да к тому же еще повторяли, что не хотят фотографироваться, и делали все, чтобы спрятаться от камеры, но втайне были уверены в своем неотразимом обаянии, хотя снимки, кажется, подтверждали распространенное мнение, что писатели плохо выходят на фотографиях. Двое довольно бледных толстяков, которых он мог бы пощадить и не мучить фотосъемкой — пусть себе пишут книги. Да еще Роза, у которой впервые в жизни был несчастный вид робкой, застенчивой и отчаянно пытающейся преодолеть свою застенчивость провинциалки. Такое не враз и сфотографируешь.

Микроавтобус с шофером был рассчитан на целую группу, но толстяки вскоре уже бродили по Гаване, шатались по пляжу, как некогда Франц, и плюнули на программу поездки. Ему предстояло возиться только с Розой Земмеринг. «Ты тоже себе кого-нибудь подцепишь», — сказал один писатель другому, которого Франц в первый же вечер застал с двумя сестренками, одной белой, другой черной.

«Я и не предполагала, что *трое* могут *так* действовать на нервы», — говорила посол Австрии на Кубе. Они еще из Вены забрасывали депешами министерство иностранных дел, докучали послу и еще в зале ожидания потребовали встречи с великим лидером, а Роза, не успев пройти в аэропорту таможенный контроль, мертвой хваткой вцепилась во Франца.

Но потом они, все трое, чинно сидели в креслах в первом ряду рассчитанного на двадцать пассажиров автобуса, предоставленного им на все время поездки посольством Австрии, и делали вид, будто не замечают облегающей трикотажной одежды-стретч на кубинцах.

Но всего через день эти двое станут высматривать в толпе шлюх и разведывать, как бы к ним подъехать.

Так быстро Роза никогда не влюблялась. Она вызывала у Франца искреннюю дружескую симпатию, но он и представить себе не мог, что когда-нибудь, пусть даже в шутку, а не всерьез назовет ее в постели «сукой», хотя это словечко, как ласковое прозвище, то и дело слетало у него с языка. Площадь Революции, мимо которой они сейчас проезжали, с голубыми деревьями, название которых он так и не узнал, в тот год была главным местом проведения содействующих взаимопониманию между народами встреч и саммитов и третьим, после небогатых туристов и валютных переводов из Майами, источником пополнения государственной казны в социалистической Кубе. Без долларовых вливаний кубинской социалистической модели быстренько бы пришел конец.

Туристкой Роза будет потерянно блуждать по Малекону, тщетно пытаясь понять, зачем она сюда прилетела, почему она так страдает, — уже осознав, что едва ли может рассчитывать на взаимность. Роза Земмеринг вечно ждала от мира чего-то, чего, может быть, никогда не бывает.

До конца поездки, где бы она ни кончилась — в Мюрццушлаге или еще где-нибудь, — она Не выдержит.

Он то и дело засыпал. На мгновения просыпаясь, он, как в кошмарном сне, видел лозунги и транспаранты, причем некоторые просто ошеломляли, например: «Социализм или смерть!» — а тем временем они обгоняли на шоссе автобусы, до отказа забитые апатичными, безразличными ко всему кубинцами в пестрой одежде, и точно рай, но только для свиней, которые не прочь прижаться в толпе к незнакомой женщине.

Вскоре на бледных венских лицах можно было прочесть разочарование первыми впечатлениями. Что Гавана, что Вена — никакой разницы… Ведь и в Вене ни свет ни заря ходят переполненные автобусы. А дорожные рабочие? И в Вене люди живут на социальное пособие, да целые отряды таких, это они в самые холодные ночи — в Вене-то с ее континентальным климатом — ломами колют толстый, чуть ли не полярный лед на улицах, переходящих в междугородние шоссе, и на оживленных переулках исторического центра города, по ночам, подумать только… И здесь то же самое — там и сям мелькают за окнами

автобуса дорожные рабочие, целые отряды, понукаемые, как в древности, надсмотрщиками, вооруженными дубинами и, очевидно, имеющими право наставлять ленивый сброд на путь истинный. Словно отдельная личность — собственность народа.

От такого сходства двух миров Роза впервые за эту поездку пришла в ужас, но промолчала. Все было как зимой в Вене. Вот только здесь жарко. В ближайшие десять дней Роза каждый раз со вздохом констатировала: температура тридцать пять градусов по Цельсию, влажность воздуха девяносто пять процентов, словно ощущения можно передать в цифрах.

Вскоре, когда их торжественно встречали в многолюдном холле отеля, она повторяла, как ей нравится свежий запах сигар, и, подумав, они с Францем решили, что все дело тут в климате. Она не запрещала Францу курить. «Курите, курите, — твердила она, — нет, я сама не курю, но запах дыма мне нравится. Мой отец курил до самой смерти, практически на смертном одре. В Европе сигары без хумидора[62] портятся, а здесь, кажется, вся страна один огромный хумидор». И еще здесь, в холле отеля, впервые прозвучало имя Че Гевары, которое им суждено было не раз услышать в ближайшие дни. А еще они впервые увидели прекрасный портрет Че Гевары. В Риме и других местах паломничества существовало по крайней мере множество святых; здесь, в Гаване, как им вскоре предстояло убедиться, был один-единственный — Че; его атрибутами были Калашников, сигара и красивое лицо, а вместо нимба его украшал берет со звездой. В остальном он напоминал Иисуса с картин девятнадцатого века. Значит, так выглядел Спаситель? Она знать ничего не хотела о Спасителе с Калашниковым в руках и с лозунгом «Социализм или смерть!».

Вероятно, писатели, подогреваемые ромом, купленным в магазине беспошлинной торговли, и перспективой приятно провести ближайшие дни, только что рассказали первый за сегодня грязный анекдот. И потому хохотали, не краснея. Услышав непристойный анекдот, они каждый раз хохотали, и все. Мир больше не давал им повода краснеть. Только повод поржать. Напротив, когда Франц видел, как Рамона раздевается у него на глазах, он все еще краснел. В том числе и из благодарности за то, что все еще не утратил способности краснеть, ведь если он не утратил способности краснеть, значит, по-прежнему ее любит.

А толстяки из австрийского захолустья, никогда не видевшие моря, еще по пути в центр города выдумывали необычные эротические комбинации, например секс на пляже, секс под водой, и на всякий случай потренировались в ванне, еще в Австрии, за несколько недель до отъезда. А разглядывая

восторженные транспаранты «Социализм или смерть!», и тот и другой думали только о том, что однажды днем, а может быть, и ночью, может быть, даже завтра их мечта осуществится, и на площади Революции они подцепят девицу, которая согласится пойти с ними на море за пару пусть подержанных, но все-таки фирменных пляжных шлепанцев, припасенных у них в багаже специально на этот случай, и еще будет повторять, как она их любит.

Францу снова стало страшно при мысли о совместном завтраке на следующее утро.

И вот они уже ехали по набережной Малекон, знакомой всем троим по фильму Вима Вендерса, и сразу же поняли, что их обманывали: она оказалась всего-навсего самым длинным бетонным бульваром в мире. *Но море было близкое и живое.*

В надежде, что случится что-нибудь интересное, они, доехав до бульвара Хосе Марти, свернули от моря к центру города и вскоре уже наслаждались включенной в счет выпивкой в красивом холле отеля «Севилья».

Все-таки Франц сумел доставить их в гостиницу.

Рамона уже спала, высунув ногу из-под простыни.

5

На следующее утро Роза познакомилась со своей горничной. «Вы наверняка знаете кого-нибудь, кому это может пригодиться», — произнесла Земмеринг любезно, передавая уборщице маечку, в которой прилетела в Гавану. Красивая формулировка, утонченная, несколько старомодная: Роза, конечно, знала, кому достанется эта маечка. Горничной и потом что-то будет перепадать. Роза взяла с собой старые вещи, по одной на каждый день. В Вену она вернется с остатками своего гардероба фирмы «Макс Мара», а все бесчисленные одноразовые упаковки шампуня, витамины, болеутоляющие до отъезда раздарит. В отличие от Франца, наслышанного об этом от Рамоны, Роза еще не знала, что все уборщицы, работающие в отелях и получающие зарплату в валюте, — миллионерши и что туристам, вместо того чтобы от умиления совать по десять долларов музыкантам, стоило бы давать по доллару каждому встречному нищему. На них нищий может прожить по крайней мере день.

Она радовалась предстоящей встрече с Францем.

Мужчины с самого начала плевали на условности. Весь шведский стол был съеден, официанты уже во второй раз

подавали холодные закуски, и это в тридцатиградусную жару в девять утра. Франц все не появлялся, и они решили не дожидаться его, а пойти завтракать. «Пойду-ка я подкреплюсь!» Как трогательно они прошаркали к шведскому столу в «легкой летней одежде» — тренировочных штанах, которым самое место на любом из блошиных рынков столицы блошиных рынков — Берлина.

Роза, наоборот, принарядилась в этот день ради Франца. Трусишка Роза решила одеться так, чтобы никто не принял ее за американку, но убеждала себя, что поступает подобным образом из деликатности, не желая задеть чувства кубинцев, — она ведь вообще старается никого никогда не обижать.

Она была наблюдательна и многое замечала, например, что люди здесь, на Кубе, движутся на тротуарах, в огромных торговых центрах, в зданиях чудесных новых вокзалов и даже в туалетах организованно, стройными колоннами, как автомобили на шоссе, потому что у всех есть водительские права. Эти тонкие наблюдения она использовала в своем новом романе.

Роза надела берет со звездой и стала немножко похожа на Че Гевару. Бедняжка Роза, даже официанты издевались над ее прикидом и кляли ее на чем свет стоит, ведь кубинцы в большинстве своем Че Гевару терпеть не могут. С тех пор как революционеры спустились с гор Сьерра-Маэстра, кубинцев, даже мусорщиков, чернорабочих и уборщиц туалетов, без конца мучили Че Геварой, им пришлось расплачиваться за то, что этот красавчик так рано умер. Посудомойка даже вышла из кухни, чтобы полюбоваться, как влюбленная, исполненная лучезарных надежд Роза в черном берете у шведского стола неловко подцепляет вилкой то один ломтик ананаса, то другой, но не решается остановить на чем-то свой выбор, потому что хочет дождаться душку Франца и сидеть с ним за одним столиком.

На крыше-террасе уже расположился толстяк из Винер-Нойштадта, живший на стипендии и время от времени читавший лекции в университете родного города. Он сидел за отдельным столиком и притворялся, что не замечает, как Роза нелепо топчется у десертов в ожидании Франца. В ярких лучах тропического солнца его черные крашеные волосы стали предательски отливать желто-зеленым. Увидев его, Роза без церемоний подсела к нему за столик, и он смирился с ее появлением, словно Роза — какой-то неодушевленный предмет, вроде клеток с птицами, между которыми он расселся. А она забрела на террасу в поисках Франца — вдруг он случайно сел за один из сотни столиков и ждет ее там, а она его и не заметила, как вечно думают влюбленные.

В одной клетке сидели волнистые попугайчики, в другой какаду.

А сколько их, собственно? Да какая разница.

Толстяк, кроме прочего, был в этой делегации на амплуа циника. «Да брось ты, Роза, этих тварей кормят, им не так уж плохо живется». И в самом деле, на птиц обслуга обращала внимание чаще, чем на постояльцев отеля, завтракавших на этой террасе и то и дело барабанивших пальцами по прутьям клеток: «Ну же, давай! Ну, полетай!» Но эти кубинские птички отбывали заключение, как и кубинские граждане, — просто люди сидели не в клетке, а в тюрьме под открытым небом. Франц все не появлялся, скоро будут убирать закуски со стола, и значит, за завтраком они не встретятся.

Некоторые жалели бедных птичек. Роза понимала, что они жаждут улететь, что всю жизнь поджидают удобного случая выпорхнуть из клетки. Обращаясь к бессердечным тварям за соседним столиком, она резко сказала, что сейчас встанет и откроет клетку. «Сейчас встану и открою клетку!» — сказала она.

Но ничего подобного она не сделала, а вместо этого еще раз прошла к шведскому столу, наполнив тарелку, вернулась на свое место и медленно ела, а потом снова восторгалась открывавшимся с террасы видом. Гавана в утренние часы — такая прелесть. «Франц не погиб в результате несчастного случая, и вообще с ним ничего не случилось», — убеждала себя она. «Он всего-навсего проспал и, очаровательный, как всегда, просто душка, сейчас толкнет вращающуюся дверь и изысканно-вежливо извинится, и я влюблюсь в него еще больше», — думала она.

«Вот сейчас, сейчас Франц подойдет к моему столику, — повторяла она. — А в понедельник я буду сидеть рядом с ним, когда поедем в Виналес[63]». Она посматривала на часы, мечтала, замирала и даже представить себе не могла, что в действительности все окажется куда печальнее.

Франц Маринелли так и не пришел. Понемногу она все-таки начала расстраиваться.

Им нужно было поторопиться, чтобы успеть к десяти на экскурсию в Музей революции.

А где же Франц? Он так и не появился. Толстяк ушел, решив самостоятельно распорядиться своим днем. Роза сидела на террасе, пока ровно в десять по социалистическому месткому времени не убрали закуски со шведского стола. Потом она спустилась на лифте в холл. Теперь Роза по-настоящему забеспокоилась, уж не случилось ли с ним что-нибудь, и собиралась звонить послу. Она забросила досье. Ее досье для министерства иностранных дел превратилось в протокол ее

любви.

6

В квартире было очень жарко. Рамона уже встала. Как ни странно, утром забежал Ренье, присел рядом с Францем на край постели и стал болтать с Рамоной, принимавшей душ, на кубинском испанском, которого Франц почти не понимал. Она вдруг собралась к Грасиэле — покрасить волосы. «Чао, бэби», — бросила она и упорхнула. Ренье почему-то не уходил и, насколько Франц мог видеть из постели, направился на террасу. Ему было неловко оставаться наедине с Ренье в пустой квартире, хотя он ничего против него не имел. Может быть, потому и неловко. Кроме того, ему давно полагалось быть в отеле. А еще ему нужно было покормить свиней. Наконец он встал. Ренье в майке и спортивных штанах фирмы «Адидас», облокотившись на перила террасы, посматривал то в сторону Гаваны, то на Франца, кормившего свиней чем-то непонятным. Но вместо того чтобы принять душ, собраться и быстренько поехать в «Севилью», Франц снова улегся в постель и сделал вид, что читает «Происхождение видов путем естественного отбора»[64].

Тогда Ренье молча встал под душ, словно хотел продемонстрировать ему, как нужно мыться, пока Франц притворялся, что читает, а потом Ренье спросил, не потрет ли Франц ему спинку, словно они — ученики частной школы для мальчиков. «Ты мне не поможешь?» — с улыбкой спросил Ренье. А поскольку Франц никому не отказывал и хотел оказать Ренье эту услугу, в чем сам себя убеждал, как тогда в спальном вагоне, он действительно стал тереть Ренье спину, движимый сначала любовью к ближнему, а потом просто любовью.

С той первой встречи на пляже имени Патриса Лумумбы Франц знал от Рамоны, что Ренье «голубой». И сейчас хотел бы оказаться где-нибудь далеко-далеко, а еще лучше умереть, но внезапно вдруг взглянул на обнаженного Ренье и вот уже смотрел не отрываясь, не в силах был не смотреть, не мог отвернуться. Или все настойчивее отворачивался, потому что не мог оторваться, — он сам не мог понять… «Да не будь таким зажатым, чего ты комплексуешь», — говорила ему тогда, в спальном вагоне, Андреа. Но Ренье таких слов не знал ни по-английски, ни тем более по-немецки, и Францу не оставалось ничего иного, кроме как молчать, а Ренье улыбался своей ослепительной улыбкой и повторял одинаково ужасно звучащее на всех языках «no problem» и все улыбался, и вот они оба оказались под душем.

И так они стояли в узенькой кабинке, их руки и глаза зажили собственной жизнью, вода стекала по их телам, белокожему и смуглому, и они уже совсем было потеряли голову, как вдруг распахнулась дверь и Рамона, успевшая покрасить волосы, так громко завопила: «Вот свиньи!» — что слышно было во всем доме. Только свиньи ничего не поняли.

В конце концов ему страшно захотелось заползти под несвежую простыню и больше не вылезать, как после ночи беспробудного пьянства, когда наутро, неумолимо и безжалостно, словно неприкрытая и неприглядная правда, в памяти всплывают отдельные образы и фразы. Ему отчаянно хотелось, как в детстве, закрыть глаза и сказать: «Меня здесь нет». Но он был здесь, и только здесь.

И еще — страх. Он, его страх, и ничего больше. Страх, что Рамона, в последние дни частенько мурлыкавшая себе под нос «бэби», словно обращаясь к другому, его бросит. Он, конечно, во всем ей признается, он же не может свалить все на пьянство.

Он просто тер Ренье спину, лгал он Рамоне. А немного и самому себе.

Франц и представить себе не мог, что Ренье втянул его в эту игру по поручению Рамоны, которая хотела застать его на месте преступления, чтобы потом устроить сцену ревности и потихонечку-потихонечку от него отдалиться.

«Ну вы и свиньи!» Но потом она на удивление быстро успокоилась и с великодушием победительницы предложила сходить на террасу отеля «Капри» и выпить по бокалу «батиды де коко», чтобы отпраздновать примирение. Сегодня вечером, например.

Но с того дня Рамона вела себя так, словно что-то непоправимо изменилось. И так, словно имеет право безумно ревновать. Разумеется, она ему совершенно не поверила. Вместе с тем она притворялась, будто изо всех сил скрывает свою обиду, и делала вид, что ничего не случилось. Она улыбалась. «Будьте всегда вежливы: кубинцы улыбкой сглаживают любые мелкие неловкости», — да, еще бы, но как-то странно она на него смотрит…

А Гавана была уже не серой, а переполняемой голосами. С улицы доносились звуки «Tu querida presencia»[65] в исполнении дамского оркестра. А свиньи росли, неумолимо приближаясь к назначенному судьбой сроку.

7

А еще эта проклятая делегация. В первое же утро она сократилась до одной-единственной писательницы, Розы, которая теперь вела дневник несчастной любви. Иногда появлялись двое австрийцев и подходили к Розе поздороваться. Они делали вид, будто не знают, кого она дожидается. И вместе с тем недвусмысленно давали ей понять, что ей повезло больше, чем им, и что они в чем-то ей завидуют, и при этом усмехались себе под нос. Не будь Роза так погружена в свои печальные размышления, она могла бы заметить, как один из них еще за стеклянной дверью ляпнул: «Драная кошка, старуха, а туда же…» Роза была, пожалуй, лет на пять моложе их. Она сидела в кресле совсем одна.

Франц пришел в таком виде, словно всю ночь пропьянствовал, — сейчас даже рот открыть не в силах и хочет только одного: чтобы все от него отстали. Впрочем, позавтракать вместе с ним Розе все равно бы не удалось: шведский стол уже давно убрали. Она поджидала его в холле отеля, сидя в одном из мягких кресел и притворяясь, будто не видит в зеркале, как он к ней подходит.

— Добрый день, госпожа Земмеринг.

— Я здесь вот уже два часа сижу.

— Мне жаль, Роза, — произнес он, как немногословный, мужественный герой мыльной оперы.

Ну и что, это все его извинения?

Но все-таки она мало-помалу смягчилась, и от ее внимания Маринелли успокоился и снова вообразил, что неаппетитная история с Ренье и скандал с Рамоной уже позади.

Беззащитная и наивная Роза как бы давала понять Францу, что все его тревоги — пустяки, и его потихоньку опять стало клонить в сон. В глубине души ему хотелось заснуть и больше не проснуться. Но Роза истолковала его сонливость как свидетельство доверия и заговорила торопливо, сбивчиво, боясь упустить что-то важное. Она непременно хотела посвятить его в самые сокровенные подробности своего прошлого, во что бы то ни стало рассказать о самом важном, о том, что сейчас ее терзало, словно разница в возрасте — тоже пустяк, вроде злоключений Франца.

Она собиралась рассказать ему о себе все.

Роза была на двадцать, а может быть, и на двадцать пять лет старше этого несчастного сопровождающего и фотографа, снимавшего писателей, о котором она была наслышана еще в Вене и в которого сейчас влюбилась. И теперь он сидел рядом с ней, такой трогательный, что ей хотелось его обнять, вот такого, заснувшего рядом с ней по пути в Гавану. Когда Франц закрыл

глаза и склонил голову, он напомнил ей Франца Иосифа, с которым она давным-давно ездила по Венскому лесу в автомобильном фургончике в поисках подходящей стоянки, а *женщины, отцветшие красотки, в открытую завидовали ей.* Да и форма его головы, затылок, что-то, что особенно нравилось Розе в мужчинах, напоминало ей Франца Иосифа. Воспоминание это было недобрым, но сладостным. И печальным.

А теперь она вот какая, она же чувствует, что они не смогут начать сначала. Она ведь понимает, что Франц моложе ее на целую жизнь.

Она задавала вопросы, которые, собственно, уместнее звучали бы в устах этого сопровождающего, а не влюбленной женщины: все спрашивала, не пойти ли им теперь в Музей революции через улицу, где выставлены овеянные славой машины, самолеты и суда — яхта «Гранма», на которой герои высадились на побережье, самолет, на котором они прилетели в Гавану с востока, танк, на котором они победным маршем въехали в столицу, автоматы и пистолеты в позолоченной витрине, выстрелами из которых Фидель и Че собственноручно казнили первых врагов революции — семнадцатилетних крестьянских мальчишек, одураченных агентами Батисты[66] и ставших бессмысленной, ненужной жертвой, мальчишек, последним словом которых было «мама». Ведь именно так во время войн и революций добиваются торжества справедливости.

Ей было ужасно жалко Франца, который из последних сил боролся со сном и терзавшими его безумными образами в придачу. Она уже собралась было отправить его домой, словно давала в жаркий день школьнику освобождение от уроков. С другой стороны, ей хотелось быть рядом с ним, а он на вопрос: «Ну что, пойдем?» — просто ответил: «Да».

Вдоль колоннады отеля «Севилья» они прошли «два шага», отделявшие их от яхты «Гранма» в стеклянном саркофаге. Ее поместили в самом красивом здании, возведенном в Гаване после революции.

Роза никогда ни в кого так не страстно не влюблялась, как в красивого, мужественного и обаятельного Франца, даже в юности, на каникулах в Испании, когда ее чувственность волновал любой водитель автобуса, хотя она и не отваживалась закрутить ни с одним роман, как, впрочем, и ни с одним экскурсоводом, летчиком, священником, писателем и даже официантом в пиццерии, которому то и дело подбрасывают на пустую тарелку любовные записки. Впрочем, Франц Иосиф говорил о ее мимолетных влюбленностях куда грубее: «Ты вроде дикой свиньи, когда у той течка».

Наконец Роза сказала: «Идите спать, мой мальчик».

Он пообещал, что на следующее утро, хорошенько выспавшись, будет ждать ее в красивом холле отеля «Севилья». И хотел было смыться. А обняться на прощанье? От Розы так просто не отделаешься, она и дома не позволяла мужу увильнуть от исполнения супружеских обязанностей, хотя тот в промежутках между занятиями любовью пытался отгадывать кроссворды с таким выражением лица, словно ищет синоним слова «жизнь» из тринадцати букв.

8

«Рамона как-нибудь поймет, и Роза поймет и осознает, что ни к чему все это, ненужная связь, пожилая тетка, ну, куда это годится, — думал он, — так я и скажу Рамоне». Однако Франц, как и его отец, ничего не сказал, зато вдруг смог поставить себя на место отца и простить его, ведь, наверное, отец тоже не хотел лгать матери. Может быть, отца тогда тоже терзало раскаяние, может быть, он тоже хотел во всем признаться.

Но тем не менее Франц Иосиф ни в чем не признался и ничего не объяснил, и Франц поступил так же: он рассказал Рамоне все, не умолчав даже о самом запутанном и извращенном в этой истории, уверил ее, что на самом-то деле ничего страшного не было, так, пустяки, безобидное увлечение, все ей рассказал, рассказал, что ничего не было, — но только мысленно, а не на самом деле. Он либо забыл это сделать, либо не сумел себя заставить, хотя искренне хотел во всем признаться Рамоне, ну, ведь правда, пустяки это все, Роза ей не соперница. А о Ренье и говорить нечего. И с Розой он тоже хотел поговорить начистоту.

Но в конце концов Франц все-таки оказался мужчиной, то есть трусом в душе. Черт знает, что творилось у него в голове, он и Розе Земмеринг хотел нравиться, хотел, чтобы она его любила. В голове у него, как и у его отца, царил невообразимый хаос, он хотел вызывать к себе симпатию, и нравиться, и быть любимым, такие желания обычно свойственны женщинам, в том числе, наверное, и его матери, постоянно твердившей «врет!» или «лжец!»: она хотела, чтобы Франц Иосиф ее любил, и, в сущности, всего-навсего объяснялась мужу в любви, бормоча в своем доме для престарелых: «Лжец! Амок, бойня!»

Как же ясно он теперь понимал, что его никто не понимает.

9

Роза не решалась говорить о своей нынешней любви и потому заговорила о том, кого любила в прошлом. И о литературе. Это было через день. Вдвоем они поехали на такси в отель «Насьональ», а ее коллеги в это время снова отправились собирать материал. И вот Франц и Роза сидели друг против друга в баре под открытым небом, весьма напоминавшем ему отель «Киприани», а над морем возвышалась крепость Морро, где в помещениях бывшей государственной тюрьмы вскоре откроется международная книжная ярмарка и состоится единственное писательское выступление Розы на Кубе.

После всего пережитого Франц безмятежно проспал всю ночь. Рамона вела себя как ни в чем не бывало, а ночью снова отрешенно шептала «бэби» и тянулась к нему. Она, по ее словам, прогнала Ренье к чертовой матери. Как красиво ее губы касались подушки, как красиво ножки выглядывали из-под простыни.

А Роза? Роза вначале беспомощно посмотрела на него, потом решительно выпрямилась и произнесла: «Франц, сегодня я хочу немного рассказать вам о себе».

«Я всегда проглатывала обиды и оскорбления, подавляла гнев и досаду», — начала она, и Францу показалось, что она пересказывает ему сцены из романа, который сейчас пишет, и речь в нем идет о ее жизни, словно ей нужен слушатель, чтобы выяснить, какое роман производит впечатление. А еще показалось, будто она мечтает о ком-то, совершенно непохожем на других, и этот «непохожий на других» — он. Будто она репетирует свое писательское выступление, для которого выбрала еще не дописанный роман, и от него зависит, каким получится финал. А теперь рассказывает ему свою жизнь, словно выучила ее наизусть.

Дома у Розы был Эрих, тоже из тех заведующих кафедрой, что покупают автомобильные фургончики, чтобы встречаться в них с женщинами, по большей части студентками. Его специальностью была гинекология. Роза, появившаяся на свет на двадцать лет позже Эриха и до самой свадьбы, как девочка, еще называвшая себя Рози, тоже довольно долго была любовницей человека, путешествовавшего с ней по окрестностям в автомобильном фургончике, пока не стала для него слишком старой. Тот человек был заведующим кафедрой в Венском университете и на долгие годы привязал Розу к себе обещанием жениться, как только его ужасная супруга излечится от своей патологической, подогреваемой алкоголем ревности, если, правда, не убьет до тех пор ни себя, ни его.

Поэтому неудивительно, что Роза, обретя печальный опыт, пережив разочарования, смотрела на мир с какой-то унылой

безнадежностью и от Кубы тоже ничего не ждала, самое интересное все равно не состоится, вот разве что несколько экскурсий и встреч с симпатичными людьми, во время ужина делающими комплименты и потихоньку посматривающими на часы, чтобы вовремя лечь спать. Ведь на следующий день встать придется очень рано.

Роза была весьма состоятельна. Ей принадлежала часть акций в теннисном клубе и фитнес-центре. Тем не менее она была начисто лишена самоуверенности богачей и каждый раз невольно краснела, начиная фразу словами: «Ну, я не знаю…» Многие фразы она начинала именно так. Единственное, на что она решилась, это носиться на гоночном автомобиле — летом она летала в открытой машине по своим воспоминаниям о прекрасных солнечных днях. Если бы Франц увидел ее такой, то наверняка полюбил бы.

«Я не знаю, что со мной, я схожу с ума», — могла бы сказать она, но никогда не решилась бы сказать об этом вслух и никогда бы в этом не призналась.

Она по привычке откидывала волосы со лба жестом, оставшимся у нее как последнее напоминание о юности, и смотрела на Франца вопросительно и вместе с тем ободряюще, неповторимым взглядом, присущим лишь Розе и лучше всего отражавшим ее тайную сущность. Она откидывала волосы со лба и поглядывала то на Франца, то на море. И при этом курила сигарету, словно ей нужно сосредоточиться. А ведь это была любовь.

Но все напрасно. Очень мило, ничего не скажешь, однако с опозданием лет на двадцать.

Они сидели в красивом баре под открытым небом, в белых плетеных креслах, как сиживали здесь до них другие, например Карузо[67] и Аль Капоне[68], наслаждаясь за столиком с видом на море сваренным по особому рецепту некрепким кофе по-венски, и вот она с отчаянной храбростью застенчивых людей уже рассказывала, какой мукой была ее жизнь до встречи с ним.

Франц все больше походил на того человека с автомобильным фургончиком, которого она боготворила в юности, студенткой, с обожанием глядя, как тот возвышается над столом, где производились вскрытия.

«Неужели это вся моя жизнь?» — хотела взвыть она, но и тридцать лет спустя не решалась даже вообразить, что возможно такое разочарование.

А Франц Иосиф занимался любовью с таким выражением лица, словно делал Розе одолжение. И она его в конце концов бросила.

«Почти все нам приходится бросать еще при жизни», — сказала Роза. Франц хотел возразить. Но не сумел.

«Не может же мужчина с такой внешностью еще и врать. Такой, как он, не может жить двойной жизнью», — думала она тогда, в юности. Она действительно стала встречаться с тем человеком только потому, что полагала, будто ей ни с кем не придется его делить. Но уже вскоре, когда наступал ее черед заниматься с ним любовью, она обнаруживала, что в фургончике повсюду валяются нейлоновые чулки, причем чужие. Роза ведь знала, как все это бывает: хуже некуда. По собственному опыту ей было известно, как эти женщины либо прокрадываются в фургончик заранее, либо робко стучат в окошко, и вот их с ухмылкой впускает внутрь тот мужчина, «который был немного похож на вас, дорогой Франц», и вот они раздеваются либо до, либо после него, либо за его спиной, закомплексованные хуже некуда.

Оливково-зеленая майка в мелкий рубчик и подобранные более или менее в тон оливково — зеленые трусы или плавки, которые предпочитал носить ее любовник, были еще не самое страшное.

Тут Франц подумал о матери и ее судьбе, о Сильване Мангано[69], обо всех женщинах, *терзаемых невыносимой болью оттого, что всегда таят ее в себе.*

И тут Розе в самый раз было разразиться хохотом, словно бросая вызов небесам. Собственно, она стремилась лишь бежать от своих мужчин и все-таки обернулась, как жена Лота. Жена Лота превратилась в соляной столб и была наказана смертью. Тогда как Роза была наказана жизнью.

Роза была наказана пустой, ничтожной жизнью. Каждый раз, рассматривая фотографии умирающего Пикассо и Франсуазы[70], она невольно думала об Эрихе и о себе. Она тоже была на целую голову выше и куда красивее Пикассо и Эриха. Это противоречило выдвинутому по результатам так называемых исследований модному тезису, согласно которому мужчинам маленького роста куда труднее завоевать женщину, чем высоким. И всегда подчеркивалось, что это мужчина завоевывает женщину, а не наоборот.

Роза терпеть не могла мужчин, которые спрашивают: «Ты доставишь мне это удовольствие?» Франц терпеть не мог женщин, которые спрашивают: «Ты доставишь мне это удовольствие?»

Слишком поздно… Словно ее жизнь непоправимо зашла в тупик. Словно ее жизнь — это пролог и эпилог, но без центральной, самой важной части. Внезапно Роза взглянула на Франца, уже давно испытывавшего к ней одно лишь дружеское

участие, без примеси страсти, — с такой безнадежностью, словно знала наверняка, что сейчас заканчивается эпилог ее книги и обрывается ее жизнь.

Тут Роза взяла себя в руки. «He's a shrempp»[71],- сказала она по-английски, имея в виду поведение своего Эриха, который относился к женщинам как чему-то бывшему в употреблении, точно к запчастям или подержанному автомобилю.

«Однажды, в совершенной тьме, когда нас еще не было на свете, произошла битва пятисот миллионов сперматозоидов с одной яйцеклеткой, из этой битвы я в конце концов вышла победительницей, ведь один сперматозоид в конце концов добился своего, и из него получилась я», — думала она. Роза, которая получилась из одного сперматозоида, в один прекрасный день отправилась на Кубу, а теперь сидела напротив Франца в удобном мягком кресле. А он не сводил с нее сочувственного взгляда. Все живущие вышли победителями и победительницами из этой праматери всех битв. Мысль о том, что они тоже принадлежат к выжившим, хотя по их виду не скажешь, возможно, была не столь уж невинна и даже граничила со святотатством, которое в наши дни никак не каралось, вот разве что порождало уныние.

«На почве переживаний я заболела раком, потом меня облучали, у меня выпадали волосы. Теперь мне лучше», — произнесла Роза, на что Франц сказал, весьма невпопад: «Совершенно ничего не заметно!» — словно это комплимент.

«Завоевать мужчину, завоевать женщину» — что за выражения. Но так уж повелось.

Потом он уже больше ни о чем не думал, а когда занимался любовью, точно ни о чем не думал, а только стонал совершенно бессмысленное «я тебя люблю» попеременно с «я кончаю», как будто и в самом деле завершал некое важное начинание.

«Кончаю!» Что за бред, что это за уведомление, Роза его с юности, с первых любовных опытов возненавидела.

Потом Франц поехал к Рамоне.

Ему отчаянно хотелось близости, но она куда-то исчезла.

10

В Вене он утверждал, что поездку нужно долго и основательно готовить. Для этого его снабдили немалыми денежными средствами.

Выяснилось, однако, что он вообще ничего не подготовил. Франц не устроил ни одного писательского выступления, столь

же важного для писателей, как и встречи с другими писателями, в первую очередь встреча с Габриэлем Гарсиа Маркесом, который, по мнению всех троих, мог заметить их и благословить, и тогда о них узнал бы весь мир. Кроме того, Франц намекнул, что Кастро может дать им личную аудиенцию. Эти гвозди программы пришли Маринелли в голову за день до приезда делегации и были наспех нацарапаны на крошечном товарном чеке. Туристическая программа пока ограничивалась встречей гостей в аэропорту Хосе Марти. А назавтра была запланирована поездка в Виналес.

«Бумага на Кубе — редкость, более желанного подарка кубинские писатели и вообразить не могут! — убеждал Маринелли австрийских гостей. — Привезите с собой бумагу! Представьте, что вы пишете книгу, а писать не на чем». Писатели согласились, но немедленно ощутили первые приступы зависти: вдруг на этой бумаге станет писать будущий нобелевский лауреат? Втайне Маринелли думал: «Неплохо, если бы и в Вене бумаги было поменьше, тогда многие писательские проблемы решились бы сами собой».

Дефицит бумаги отчасти оправдывал и Франца Маринелли, не подготовившего визит австрийской делегации.

Ему ведь приходилось вести всю документацию на клочках бумаги, в том числе и финансовые отчеты, пока представленные всего несколькими цифрами, которые он кое-как набросал в такси по дороге в аэропорт.

11

Профессиональные обязанности Рамоны, работавшей, по ее словам, журналисткой в газете «Гранма», были необременительны.

Обычно ей требовалось два часа, чтобы добраться до редакции, в основном на гаванских автобусах, похожих на трактора с прицепами, где кубинцы ехали в страшной тесноте, стоя плечом к плечу, напоминая Францу заключенных в камере смертников перед расстрелом.

В прошлое голодное лето ей, как раз писавшей тогда кандидатскую диссертацию, пришлось торговать дынями на шоссе, связывавшем Гавану и Матанзас[72]. Непроданными дынями питались они с матерью.

С тех пор она мечтала убежать с ним в Америку.

И по-прежнему сидела у Франца, безучастно, отрешенно, вот сейчас, например, примостившись на краешке его кровати,

чистила банан, посматривала в сторону Америки и мечтала, наблюдая, как он набирает текст на компьютере. В поле ее зрения одновременно были Франц и обе свиньи. Всех троих связывала общая судьба: ни один из них не догадывался, что их ожидает.

Рамона долго, растягивая удовольствие, наслаждаясь каждым кусочком, ела банан, мечтала бежать в Америку со своим возлюбленным и косилась на Франца, словно это с ним она хочет бежать. Он улыбался ей в ответ, хотя ее улыбка предназначалась не ему, и печатал дальше.

В последнее время они почти нигде не бывали.

Чаще всего они сидели в этой комнате, лишь изредка выбираясь к друзьям и родственникам, в их убогие жилища, или в зоопарк.

Серая Гавана, обветшавшие, полуразрушенные дома, но, когда проезжаешь мимо, краем уха слышишь песни. Мимо дома Лесамы Лимы. Туристы в такие места не заглядывают. Франц печатал на своем ноутбуке сопроводительные тексты для фоторепортажа, который он собирался отдать в какой-нибудь журнал. Сначала он хотел было опубликовать в журнале «Море» самые красивые фотографии, в том числе из зоопарка, но теперь почти не снимал, а если и снимал, то Рамону, и далеко не все ее фотографии предназначались для посторонних глаз.

В зоопарке Франц вдруг вспомнил, чему его учили в школе в Фельдкирхе. Он не мог согласиться с тем, что говорили ему тамошние учителя о человеке. Преподаватель латыни, описывая бесконечные сражения, стремился доказать, что человек выше животных. Ведь человек — существо разумное, это, по мнению преподавателя латыни, доказывают исторические труды Ливия[73], военные мемуары Цезаря[74] и низкопробный роман Светония[75]. Преподаватель Закона Божьего патер Ансельм Хоэнштайн в особенности настаивал на примате человека над приматами. Впрочем, Франц тоже неоднозначно относился к мнению вульгарного Дарвина, которого сейчас, в Гаване, как раз перечитывал, о том, что человек якобы происходит от обезьяны. Преподаватель Закона Божьего говорил, что человек наделен бессмертной душой. И совестью. К преподавателям латыни и Закона Божьего присоединялся преподаватель немецкого, со своей стороны утверждавший, что человек одарен речью. Им вторил преподаватель биологии, учивший, что человека отличает от животных вертикальное положение тела и хождение на двух ногах. Обо всем этом Францу твердили еще в Вене, а потом в частной школе, и так всю жизнь. Однако Франц в конце своего долгого путешествия чувствовал, что, несмотря на все усилия, учителя и воспитатели его не убедили: ему казалось, что он не

превосходит животных, он в крайнем случае такой же, как они. К тому же он полагал, что за сорок лет так и не стал существом разумным. Да и весь мир, в его представлении, был неразумным, начиная с Адама и Евы, их сына-убийцы Каина и Авеля, жертвы Каина, и кончая его матерью с ее венскими фантазиями на тему лжи в бывшем еврейском дворце на Рингштрассе, с ее последними мрачными догадками под сенью Зигмунда Фрейда. История человечества изначально была историей убийц и их жертв. Бессмертной души у него, возможно, тоже не было. Да и зачем ему бессмертная душа? Разве просто *души* не хватает?

Неужели этой, посюсторонней жизни мало? Да и речью он, кажется, тоже не наделен. Он ведь даже не находил нужных слов, чтобы описать эту жизнь, чтобы сказать, какой она была на самом деле. Даже не способен был выразить словами, почему не складывались его отношения с Рамоной. Он не в силах был облечь в слова ничего из того, что казалось ему важным и что он мучительно хотел сказать, в том числе ей. И дело тут не в его плохом испанском. К сожалению, преподаватель немецкого ошибался, теперь, в Гаване, он это понял. Но он не мог сказать ему об этом, ведь того человека уже не было в живых. И ходить, тем более держась прямо, он больше не мог. Эти нерадостные мысли одолевали Франца в конце пути. Жизнь-то, она ведь только в дешевых романах белая и пушистая. Хотя порой бывает веселой. Если бы он мог подсчитать, сколько всего секунд и минут в жизни смеялся, то в сумме оказалось бы несколько дней, не меньше.

И все представляется бессмысленным и ненужным. А ведь ему приходилось слышать, как люди говорят, что счастливы только оттого, что есть он. Иногда ему даже казалось, что он сам счастлив оттого, что живет на свете.

Пытаясь обрести некий смысл, он мужественно бросился в море неясных догадок, противоречий и разочарований, и на воде его, словно спасательный круг, удерживали годовые кольца опыта. Он подплывал к этому таинственному смыслу совсем близко, казалось, вот-вот дотянется, — и тут волны сомнений и печали вновь отбрасывали его к берегу, словно купальщика на пляже Патриса Лумумбы.

Однако в гаванском зоопарке, расположенном очень далеко от центра и никогда не посещавшемся не только туристами, но и гаванцами, жизнь показалась ему особенно бессмысленной, просто пародией на его трагедию, в том числе и трагедию с Рамоной, которая спала, совершенно обнаженная, в тридцатиградусную жару, а он, лежа рядом с ней, ощущал тупую боль в спине, оттого что читал и писал сгорбившись. И боль в животе, оттого что лгал. Его жизнь за короткий срок стала

настолько запутанной и сложной, что горести, как тяжкая ноша, не давали ему распрямиться. Со скоростью света он несся к чему-то жуткому, совершая какой-то непонятный крутой вираж. Но его взгляд был еще стремительнее. Возможно, от звезд его отделяло расстояние в несколько тысяч световых лет, однако его взгляд за одно мгновение преодолевал расстояние в несколько тысяч световых лет, отделявшее его от прекрасного созвездия — Рамоны, лежавшей рядом с ним.

За стеной были пальмы и море. Он привез с собой множество подарков, болеутоляющие средства и презервативы. Они не порвались. Все обошлось. Бедра Рамоны, отчетливо вырисовывающиеся под тесным платьем из полиэстера-стретч, подчеркивал пояс с кармашком, на котором красовалась реклама «Экспо — 2000». Пояс подарил Рамоне он. Бедра были подарком Рамоны ему — Францу.

Жители Гаваны не любили, когда им напоминают о зоопарке, потому что завидовали животным, ошибочно полагая, что зверей хорошо кормят и что те съедают пайки, предназначенные людям.

Ведь люди голодали. И хотя в фильме они пели одну песню за другой, они уже много лет голодали: ничего не поделаешь, тюрьма есть тюрьма. Если они пытались бежать, им стреляли в спину. На Кубе действительно жили голодающие, запертые в застенках, не важно, попадали они на киноэкран или нет. Франц сомневался в том, что Кастро, ни разу не ночевавший дважды в одном и том же месте из страха перед ЦРУ, а может быть, перед обыденной, негероической кубинской смертью, грозившей ему денно и нощно, хоть раз побывал в одной из тех хижин, которых Франц за такой короткий срок насмотрелся достаточно. Наивный старик, профессиональный революционер с сорокалетним стажем, Кастро чем-то напоминал Марию Антуанетту, явно желавшую своему голодному народу добра, давая совет есть пирожные, раз уж нет хлеба. А он подарил своему народу зоопарк, в который народ не ходил, потому что ненавидел зверей и завидовал им. Если бы кубинцы добрались до зоопарка, то увидели бы, как тихо плачут в своих клетках обезьяны и как они в приступе бессильной ярости, поняв, где очутились, бросают в зевак гнилыми фруктами и экскрементами. И как отощавшие львы, амурские тигры и черные пантеры крадутся вдоль решеток и, мучимые голодом, грызут прутья клетки и, дай им волю, все сожрут, в том числе и самого Кастро.

Австрийцев, и Розу тоже, интересовали в первую очередь красочно изображенные Маринелли писательские выступления: в клубе Союза писателей, в Доме-музее Маркеса, в мемориальном комплексе Патриса Лумумбы, в Доме революции и в других местах со звучными названиями. Звучные названия были единственным, что объединяло все эти достопримечательности.

Предстоял еще вечер встреч с кубинскими писателями, на котором австрийцы будут сидеть, исполненные самых радостных предчувствий, ожидая, что вот-вот начнется их всемирная слава, а за день до их отлета домой должна была открыться Международная книжная ярмарка, которую организовал не Франц. Вот таким сложным, окольным путем, благодаря международному признанию на Кубе, они надеялись совершить прорыв в австрийском и немецкоязычном культурном пространстве, а впрочем, этого прорыва им никто пока не гарантировал. А потом — кто знает? — они, может быть, еще встретятся с Кастро, и он пожмет им руку и даст несколько проникновенных напутствий: втайне они представляли себе апогей поездки на Кубу чем — то вроде аудиенции у Папы Римского, хотя не решались признаться в этом вслух и почем зря издевались над встречей с кубинскими писателями. Впрочем, едва войдя в зал, они умолкли и замерли с бокалами в руках.

В общей сложности члены делегации выступили всего два раза, сначала на обычном чтении перед публикой, поспешно доставленной Францем и состоявшей из десяти знакомых Рамоны — сама она осталась дома, — и в том числе якобы перед тремя кубинскими писателями, тоже собиравшимися читать отрывки из своих произведений. Бедняги австрийцы производили печальное впечатление, они нахохлились и сбились в стайку, выжидательно оглядывая зал. Розу ему было жалко. Маркес, разумеется, не приехал, зато на чтения пригнали еще десяток сотрудников Австрийского посольства. Пригласили даже немцев и швейцарцев, но они не явились. А больше никто не слышал об этом вечере, на который венцы, проведя несколько дней впустую, явились совершенно измученные и уже не в силах были возмущаться по поводу плохой организации поездки, не заметив от усталости, что трое кубинских писателей, читавших отрывки из своих произведений, читали совсем не из своих произведений, а из романа Гарсиа Маркеса и что оглашенное тут же приветственное слово Гарсиа Маркеса в действительности наспех, на живую нитку сочинил Маринелли, лежа утром в постели. Так называемые писатели, друзья Рамоны, читать по крайней мере умели.

Венцы только ждали минуты, когда смогут развернуть свои

листки, а там хоть потоп.

Поскольку ни один из гостей не владел кубинским диалектом испанского и приветственное слово переводил Франц, несообразности и даже совершенно абсурдные детали этой речи никому не резали слух, не заметил их и толстяк Титмонингер, который был сыном шофера австрийского посла, правда не на Кубе, а в соседней Доминиканской Республике, почему его и пригласили на чтения в качестве почетного гостя и эксперта. Он до сих пор не издал ни одной книги, кроме брошюрки в крошечном издательстве «Провинциальная библиотека». Его считали переводчиком, потому и взяли на чтения, однако, как выяснилось, он был не в состоянии прочитать даже меню, не то что перевести вступительное слово. Собственно, он мог произнести по-испански только «спасибо». Франц сразу же раскусил этого лжепереводчика: да мошенник он, и больше ничего. Значит, два сапога пара: бояться нечего.

Оставался еще один, но этот тоже не представлял для Франца опасности, Франц ведь не раз уличал его в самом безобразном распутстве, а один раз даже застукал с двумя сестренками.

И все трое были почти уверены, что здесь, на Богом забытой Кубе, начнется их всемирная слава. Поэтому в мечтах они лелеяли вечер с Гарсиа Маркесом, воображая, что он рано или поздно попросит их принести рукопись и будет слушать — сначала выжидательно, потом угрюмо, потом снова станет внимательно вслушиваться, потом замечтается, потом заплачет, наконец, будет бурно выражать восторг: черт возьми, как здорово написано, — а потом начнет возмущаться и в ярости топать ногами: черт возьми, и никто в Вене не заметил такой талантище!

Австрийцам пришлось оплатить шведский стол, состоявший из бананов и рома, а деньги присвоила себе Рамона. На них она впоследствии купила домик под Гаваной, в трех кварталах от моря.

Шел февраль, и самыми модными напитками были «пина колада»[76] и «батида де коко».

Вернувшись и поцеловав Рамону, Франц хотел пожелать доброй ночи свиньям на террасе и тут заметил, что она плачет. Рамона казалась безутешной. «Оба наши сокровища пропали!» Она употребила именно слово «tesoro»[77]. Придя около одиннадцати домой, она обнаружила, что свиньи бесследно исчезли.

Он ей верил. Теперь свадьбу придется отложить на три месяца. Это вполне устраивало Франца. Однако он не верил, что они когда-нибудь добудут таких чудных поросят, как те два.

Заглянув по старой привычке перед сном под кровать, он

обнаружил там вылинявшие трусы, явно не его.

13

Проспал он недолго и проснулся с ощущением чуда, жившим в его сновидениях, не покидавшим его во сне, а теперь переселившимся в некую смутную область между сном и явью. Рамона лежала рядом и, наверное, видела сны. Какое чудо быть рядом с ней, видеть ее, спящую, погруженную в свои сны, не открывающую глаз, такую далекую от реального мира. И тут он вспомнил о трусах.

Рамона лежала совершенно неподвижно и едва заметно, почти беззвучно дышала, а легкий ветерок от почти беззвучно вращающегося под потолком вентилятора едва заметно колыхал занавески и приподнимал бумаги на столе. А издалека доносился приглушенный рокот моря и шум назойливого грубого мира, от которого не спрятаться.

Франц так и не решился разбудить Рамону и спросить, что это он нашел под кроватью. Он просто положил трусы, как добычу, к ногам подруги и потихоньку выскользнул из квартиры, и Рамона так и не узнала, заметил Франц улику или нет.

Вскоре он опять сидел в автобусе вместе с тремя австрийскими писателями, опять исполненными радостных ожиданий, и куда-то ехал, на сей раз на запад.

Несмотря на усталость, все стремились занять место у окна.

Всего пять человек сидело в микроавтобусе, выделенном специально для важных персон, с кондиционером и тонированными стеклами, словно кубинцам, маявшимся на перекрестках в унылом ожидании, не подбросит ли их кто-нибудь, запрещено видеть, кто там, за стеклами. Не успели они проехать первый транспарант: «Молодежь — фундамент нашего будущего. Фидель», — как Маринелли заснул. Это было уже слишком. Венцы страшно разозлились и хотели было звонить в посольство и в последний раз пожаловаться на неслыханную наглость Маринелли. Но потом Титмонингер и его коллега передумали: в конце концов они уже давно решили выбросить во время этой поездки Маринелли из автобуса. А вместе с ним хорошо бы и Розу.

Транспаранты и лозунги, казалось, совсем не раздражали гостей, словно это привычная деталь пейзажа.

«Социализм или смерть! Мы победим!» — читали они и ехали дальше мимо хижин, в которых не было даже электричества, а может быть, и водопровода. Вскоре циник из Гарстена,

настроенный не столь восторженно, как его коллега, стал отмечать, сколько раз им встретился этот транспарант. И к концу поездки оказалось, что тридцать семь.

А под мостами, в тени, томились целые толпы кубинцев, дожидаясь, когда кто-нибудь на солнечной стороне жизни их заметит и подбросит на машине. Томились безмолвно, безропотно, словно давно привыкли к тому, что их никто не подбрасывает, и сейчас, на сороковом году революции, готовы были вечно ждать, что кто-нибудь их подбросит.

Не изменившая своим убеждениям Роза по-прежнему прославляла достижения кубинского социализма и указывала на отдельные обнадеживающие детали, например на то, что дешевого жилья для малообеспеченных на окраинах Гаваны становится все меньше и меньше. Во всем она могла заметить какие — то положительные сдвиги.

А потом любовь побудила Розу взять в руки микрофон и, спасая заснувшего рядом с ней Франца, комментировать все, что она видит за окном автобуса. «За окном мы видим кубинцев, занятых на строительстве дороги». Рядом с «кубинцами, занятыми на строительстве дороги», Че, которого туристы, приезжающие со всего мира в паломничество к революционным местам, почитают как главного святого, его портрет стал иконой. Старший брат Фидель этого архимученика, разумеется, уже сто раз проклял. Ведь его, наверно, больше сорока лет изводит зависть, и если бы он не утратил духовной связи со своим народом, то заметил бы, как плачут те, кто поет «Tu querida precen- cia»[78], и как блестят глаза тех, кто слушает песню о том, как любимый Че спускается с гор под Санта-Кларой. А если заметил бы, то умер бы от зависти.

Между тем Роза процитировала Сартра[79], который как-то сказал: «Че Гевара — самый совершенный человек нашей эпохи».

Без сомнения, в старости Кастро мучительно завидует посмертному культу Че и поклонению, которым окружено имя Че Гевары, и страдает оттого, что скоро придется умереть своей смертью, поэтому он старается забрать с собой как можно больше других людей, пусть тоже умрут вместе с ним обыденной, негероической смертью, а может быть, ему просто не хочется уходить в одиночестве.

Но ведь был период, когда наисвятейший Че и сам деградировал: в Анголе он с карабином охотился на спасающихся бегством контрреволюционеров, как богатый турист на антилоп; руководил, с удобным автоматом в руках, расстрелами по приговору военно-полевого суда, а в промежутках курил коибы, принимал у себя туристов, совершающих паломничество по революционным местам, и возлюбленных, играл в гольф, —

короче говоря, мир приходил в отчаяние.

Время от времени Франц просыпался и слышал, как Роза рассказывает о своих друзьях, столь же беззаветно преданных делу революции, как и Че, и даже на него похожих. Ему было неловко видеть, как она улыбается и поглядывает на него. И как, заметив это, двое писателей нагло переглядываются и подмигивают Маринелли, словно над несчастной женщиной, возможно влюбленной и потому смешной, втроем издеваться приятнее и они ищут сообщника: «Третьим будешь?»

С того самого мгновения, как она увидела Франца, Роза боялась возвращаться. Да и что ее ждет дома, в Вене: нелюбимый спутник жизни и друзья, супружеская пара, по-прежнему, как в молодые годы, ездившая в Асти[80] к открытию трюфельного сезона. Там они встречались с друзьями — такими же супружескими парами с коммунистическим прошлым, у которых от великой эпохи, когда они жаждали изменить мир, осталась только дружба с ведущим импортером трюфелей в Австрии и Союзом друзей кубинской революции. Но постойте… Боже мой, что это? Кажется, Франца у нее отбирают…

А писатели и в самом деле объявили, что намерены отказаться от услуг сопровождающего и вышвырнуть его из автобуса. Роза притихла, как кролик. Она была слишком слаба, чтобы принять какое-то решение, например тоже выйти из автобуса. Она искренне хотела последовать за ним, но предположила, что Франц не примет ее самопожертвования.

Чаша терпения была переполнена.

И вот, как в древности, бросили жребий, а поскольку игральных костей не оказалось, как в истории с Ионой[81], бросили монету. Но все было уже и так решено, его вышвырнули, правда, он, в отличие от Ионы, легко не отделался.

Выбрали место и соединенными усилиями вывели его из автобуса, оставив там, где с ним ничего не могло случиться: у задней двери пришоссейного бара, возле туалета. Потом они поехали дальше, и в микроавтобусе стало тихо-тихо.

Значит, Франц не добрался до Виналеса. Он так и не увидел табачных плантаций. Все, что он увидел, — это зеленые холмы и голубые горы, за которыми притаился Виналес.

На Кубе он побывал только в Гаване, да и Гавана осталась у него в памяти местом свиданий с Рамоной.

Как туда вернуться, он и сам не знал.

А Розе любовь к Францу не принесла ничего, кроме страданий. Вскоре у нее за спиной в Вене будут сплетничать: «Драная кошка, старуха, а туда же…» А она будет рассматривать гаванские фотографии и отгонять воспоминания, такие

мучительные, что, кажется, вот сейчас оглянешься на прошлое и превратишься в соляной столб.

Маринелли сначала почувствовал себя счастливчиком: вот нечаянная радость — делегации и след простыл. И молился, стоя на почти пустом шоссе, по которому проезжали редкие машины, редкие запряженные лошадьми повозки и редкие велосипедисты и брели одинокие странники: «Господи, научи меня терпению, смирению и радости малых свершений!»[82]

Несмотря на свое вчерашнее открытие, Маринелли не мог дождаться встречи с Рамоной. Вот сейчас, сейчас он увидит ее, и у него сердце замрет от радости. Добравшись наконец до улицы Консоладо, он не спеша прошел вдоль последних обшарпанных фасадов, словно хотел оттянуть блаженство, на цыпочках поднялся по лестнице, проскользнул мимо тетки из Комитета по защите революции, входная дверь была не заперта, и… В их маленькой комнате в одной постели лежали Рамона и Ренье. Как дважды два.

И весь мир словно безмолвно провалился куда-то в кромешную тьму…

Он ведь всегда был таким робким. Вечно колебался, ни на что не мог решиться. Не мог понять, что преподносит ему жизнь…

Франц, наверное, все-таки не верил в Бога. В нем не было ничего от Иова, в отличие от Иова, он не вел бухгалтерский учет своих утрат, не составлял их баланс, он не роптал, в отличие от Иова или Томаса Бернхарда, вечно самозабвенно искавшего виноватых, возлагавшего ответственность за свои страдания на всех, кроме себя, и виртуозно обличавшего растленный мир. Франц был похож не на Иова или Томаса Бернхарда, а на Милого Августина[83], еще одного венца. Франц не роптал, а пел. А когда ему становилось невмоготу, замолкал.

Вместо того чтобы убить обоих, как это некогда сделал Джезуальдо,[84] он улыбнулся. Вообще-то он сначала тоже хотел убить Ренье и Рамону. Но потом улыбнулся: убить их, конечно, стоило, но он ведь был не князь, не Джезуальдо.

Да и родом он был из Вены. Не из Неаполя, а из Вены, из города, где вечно ждешь худшего, — ничего не поделаешь, приходится смириться: там ведь не зря распевают на празднике молодого вина жестокие и печальные песни, в которых предсказывается измена возлюбленной, разбитое сердце и смерть от несчастной любви.

Вена была столицей всемирного фатализма, а главное венское кладбище — местом паломничества фаталистов; там распевали те же песни, что и на празднике молодого вина, даже когда становилось не до шуток и опускали гроб в могилу,

легонький, словно в нем ничего нет, словно смерть — это цветок, словно все это не наяву, за гранью реальности.

Таким образом, венский фатализм спас жизнь не только Рамоне и Ренье, но до поры до времени и ему самому тоже: он не убил их, а ушел, шлепнулся на песок на пляже и стал тихо мурлыкать себе под нос старинную венскую песенку.

III

Это было в те дни в Христиании, в этом городе, который навсегда накладывает на человека свою печать.

Кнут Гамсун. Голод [85]

1

Гавана, серый город вроде Хузума, замерла перед его взором и притаилась за его спиной, но по-прежнему оставалась для него самым прекрасным городом в мире. «Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль», как пелось в «Голубке»:

Cuando
sali de la Habana, valgame Dios!
nadie
me ha visto salir si no fui yo
y una linda Guachinanga alia voy yo
que se vino tras de mi que si senor
si a tu ventana llega una paloma
tratala con carino que es mi persona.[86]

Беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в Тебе[87].

Маринелли, собственно, подумывал было переехать в отель «Капри», обветшавший, запущенный и едва ли не заброшенный, но потом очутился в «Довиле».

Его даже радовало, что в этой скверной гостинице во время завтрака не играет оркестр, нет шведских столов и телевизора. А вид с любой крыши в Гаване все равно открывается один и тот же.

В одиночестве он сидел на террасе за крошечным столиком, ждал, когда ему принесут яичницу-глазунью, сначала удивляясь, почему же ее не несут, а когда ее наконец приносили, то почему она такая маленькая: неужели из одного голубиного яйца или вообще из яйца какой-то неизвестной птицы. Служащие отеля, которых он так долго жалел и осыпал подарками, присваивали себе часть продуктов и тайком продавали их из-под полы, а не съедали сами. Пока Ренье не открыл ему однажды глаза и не

сделал выговор за непомерно высокие чаевые, он даже не подозревал, что так поступают все, кто обслуживает туристов.

Куба на рубеже тысячелетий представляла собой общество, состоящее из двух классов: у одного были доллары, у другого — нет. В кубинском обществе существовали писатели, торгующие дынями, и таксисты и горничные, владеющие домами на море. Только теперь Франц понял, что когда в первый день своего пребывания в Гаване он, изрядно напившись, на радостях стал раздавать двадцатидолларовые банкноты музыкантшам женского оркестра за то, что они сыграли по его заказу «Бесаме мучо», то даже те, кого он облагодетельствовал, справедливо истолковали его поведение как сумасшедший каприз, признак надвигающегося безумия. К тому же он вошел в раж и стал дирижировать, размахивая своим швейцарским перочинным ножиком.

А еще Маринелли радовало, что теперь он избавлен от необходимости слушать за завтраком «Comandante Che Guevara, tu querida presencia»[88]. Прошла всего неделя с тех пор, как он — на крыше-террасе отеля «Севилья», где уже за завтраком исполняли музыку и пели (но, к счастью, не танцевали, ведь для танца, в отличие от музыки, нужно место), — потребовал спеть для Розы «Венскую кровь»[89], и ее в самом деле спели. Он опустил певице пятьдесят долларов туда, где у стриптизерш, танцующих на столе, оказываются купюры достоинством в один доллар и где кубинские проститутки держат мобильные телефоны, ну, в общем, за декольте. Роза была тронута и всем своим видом показывала, что гордится своим поклонником, истинным венцем, щедрым и галантным.

Так один понял, чего стоит другой. Они поехали на Кубу, чтобы понять, кто чего стоит. И теперь убедились, какие же они ничтожества.

Им еще повезло, что они оказались на Кубе, а не в Монгольской Народной Республике, ведь там официальным гостям ко всему прочему пришлось бы и мерзнуть. «Лучше уж потеть, чем мерзнуть», — в своё время решили писатели и выбрали не Монголию, а Кубу. Да ладно, все-таки кое-что посмотрели, опять же бесплатно.

Как же он устал…

Теперь Маринелли брел вдоль знаменитой гаванской колоннады, за которой ему в последние дни приходилось прятаться от трех венцев, предпочитавших осматривать город поодиночке, а еще от полиции, потому что праздношатающихся пьяниц в почерневших от грязи летних костюмах вытаскивали из толпы даже в Гаване. Вот ему и приходилось прятаться. Это оказалось нелегко, ведь почти за каждым углом притаился

полицейский.

В последние дни он бывал только там, куда никто, кроме него, не заглядывал.

К вечеру у него хватало сил только добраться до бетонного парапета у отеля «Довиль» и, сидя там, смотреть на закат.

Здесь Рамона когда-то лежала, положив голову ему на колени, наблюдала, как занимаются любовью другие парочки, которых Франц не замечал, ела банан и мечтала бежать с Кубы.

Еще один ненужный день, опять вставать, куда-то идти… Ему еще предстояло медленно себя доконать.

2

Международная книжная выставка-ярмарка проходила в крепости Морро, и австрийские писатели к шести часам вечера приехали на официальный прием в эту переоборудованную для встреч на государственном уровне тюрьму, в этот ад, некогда обустроенный силами самих заключенных.

Когда-то здесь томились их покойные коллега-писатели, в том числе и те, кто, решительно выбрав свободу, бросился с террасы, на которой они сейчас пили коктейль «сандаунер».

Обычно здесь проходили встречи Кастро с официальными гостями. В зале, где когда-то устраивались показательные судебные процессы, великий лидер принимал вчера другие делегации, но их не пригласили, и все из-за этого растяпы Маринелли, и теперь венцы, мечтавшие увидеть того, у кого аудиенцию получить труднее, чем у Папы Римского, кляли Маринелли на чем свет стоит.

В бывших камерах, где когда-то в страшной тесноте и скученности жили и умирали заключенные, а среди них и писатели, впоследствии ставшие классиками и опубликованные издательством «Зуркамп» наряду с лирикой Мао Цзедуна, размещались павильоны разных стран, и австрийский тоже.

Словно прошлое губкой стерли с доски.

Только смерть всех уравняла.

Роза читала в выставочной нише, размещавшейся в отремонтированной тюремной камере, где когда-то, вместе с еще восьмьюдесятью кубинцами, в чем-то провинившимися перед Кастро, в том числе и с уголовниками, томился ее собрат по перу Рейнальдо Аренас, хотя Роза об этом даже не подозревала. На Гавану им разрешалось смотреть с крыши-террасы, но, впрочем, только раз в неделю; тогда они смотрели на серую Гавану и на море, по которому тосковали не меньше и за которым был

чудный рай, Земля Обетованная. Теперь бывшую камеру отремонтировали. Заново побелили, ни единого темного пятна. Посольство наконец позаботилось о том, чтобы для австрийцев устроили этот — единственный — прием. Франц тайком проскользнул туда и подкрался поближе — просто посмотреть на нее и поддержать морально, — и надеялся, что она его заметит.

В зале по десяти рядам кресел были неравномерно распределены человек пятнадцать — двадцать. С кубинской стороны выступил с приветственным словом секретарь Союза писателей, отвечающий за международные отношения. Посол Австрии просила ее извинить — неотложные дела. Писателей ей на всю жизнь хватит, спасибо. Даже от писательских фотографий тошнит. Зато в первом ряду наблюдался второй атташе австрийского посольства, с трудом выдерживавший писателей и писательские выступления и только потому сидевший с более или менее благодушным видом, что делегация вот-вот улетит домой. Ему уже дважды пришлось телефонными звонками в соответствующие органы вызволять одного писателя из тюрьмы, ведь проституция на Кубе запрещена, ее, по официальным данным, даже не существует. Алкоголь привел к дополнительным осложнениям. А потом еще этот Маринелли. Его было приказано не пускать сюда ни под каким видом. Ведь его три дня назад на западном шоссе уволили без уведомления, просто вышвырнули из автобуса, не спросив мнения Розы. Теперь он с несколько безумным видом притаился в углу, но Розе его было прекрасно видно с ее места под куполообразным сводом камеры — вон он, в некогда белом, а теперь измятом, грязном полотняном летнем костюме. Кроме Розы, его никто не заметил. Смотреть на него было страшно. За три дня Франц превратился в бродягу. Когда она увидела, как он там прячется, у нее дрогнуло сердце.

Куба и Австрия были чем-то похожи: и та и другая бывали у всех на устах чаще, чем можно было бы ожидать, исходя из их размеров. И Куба, и Австрия породили исторических личностей, положительных и отрицательных, о которых, возможно, будут говорить и через три тысячи лет, на которых падет блеск этих трех тысяч лет и от которых останутся лишь мурашки по коже у тех, кто о них услышит. И Куба, и Австрия построили автострады, которые вели с востока на запад, и Куба, и Австрия сужались к западу, сходили на нет, ведь Австрия и Куба были горизонтальными странами, томно раскинувшимися, точно возлюбленная, тогда как некоторые страны стояли торчком, словно восклицательный знак. Кроме того, и на Кубе, и в Австрии лучший кофе и лучшие на свете кофейни. Вот только газет в Гаване не было.

В это мгновение Роза начала читать фрагмент своей автобиографической прозы — «Родилась неудачницей, и пошло-поехало», — который она написала, как только Франц исчез из ее жизни по дороге в Виналес:

«Рядом со мной сидела читательница, которая просила меня объяснить один отрывок: „В больнице в Ляйнце[90] мне сначала удалили опухоль матки размером с детскую голову. Но все — таки не уморили. Мне не показали эту опухоль и не сказали, куда ее дели (а как вообще избавляются от хирургических отходов?), но разве у меня не было права по крайней мере ее увидеть? Разве это не моя опухоль? Ведь позволяли же мне в детстве завернуть молочный зуб в носовой платок и унести его домой из кабинета зубного врача?" А он сфотографировал нас в то мгновение, когда мы разбирали этот фрагмент и размышляли, что он значит. Откуда мне знать? Разве этот текст — по-прежнему часть меня, разве я не напечатала его, не забыла, не потеряла из виду в гуще всех этих строк, страниц и эпитафий?» Роза читала и читала — не для публики, публике больше всего хотелось посмотреть в окно, которого не было, — а исключительно для Франца, словно читает его некролог.

Заметив, что Франц по стене подкрадывается все ближе и ближе, она сделала паузу и сказала: «А сейчас я прочитаю еще один текст, написанный только что…» — банальный зачин из репертуара любого путешествующего писателя.

Речь шла о чем-то сентиментальном, немного смешном и полузабытом: «Объявляют белый танец, ты подходишь к нему и спрашиваешь: „Можно вас пригласить?" — он отказывает, и ты возвращаешься на свое место в жизни, тебе остается только краснеть. Ты, собравшись с духом, с ним заговариваешь, а ничего не получается».

Как Франц ее понимал. В портфеле у него было полтора литра белого бесцветного рома, перелитого в безобидную бутылку из-под воды, чтобы никто не догадался.

3

Он сбежал с писательских чтений. Он во что бы то ни стало должен был поговорить с Розой. Он знал, что она рано или поздно вернется в отель и будет сидеть в кресле, из которого виден боковой вход, и собирался потихоньку прошмыгнуть через него, прокравшись вдоль колонн туда, где надеялся встретить Розу. Его охватила паника, ведь денег у него больше не было, все деньги выманила Рамона, и взять больше неоткуда, потому что он

потерял кредитную карточку, а еще потому, что все деньги он истратил. Он промотал все свое состояние. К тому же он, опустившийся бродяга, чудом проскользнувший в холл приличного отеля «Севилья», не решился бы подойти к банкомату. У него оставался только обратный билет. По соображениям стратегии Франц, прячась то за одной колонной, то за другой, пробирался сквозь лес колонн в холле, а оркестр играл «Ти querida presencia»[91]. Роза была его последней надеждой, и если в холле ее не будет — а если она там окажется, это просто чудо, — то таксист, который ждет его у дверей, а по-другому и быть не может, отвезет его прямо в полицию, и тогда… Но Роза была в холле.

Франц обнаружил, что Роза сидит за бокалом «мохито»,[92] и его последний раз в жизни немного помучили Хемингуэем[93]. Бедный «мохито»! Считается любимым напитком Хемингуэя и потому попал во все путеводители! Куда бы судьба ни заносила Франца, почти везде существовала или скала, с которой бросался в море лорд Байрон, или море, в котором — купались Шелли или Китс[94], или любимый бар Хемингуэя с фотографией Хемингуэя на стене. Не стал исключением и бар отеля «Севилья», где под фотографией Хемингуэя Роза сейчас пила любимый напиток Хемингуэя. Вездесущий Хемингуэй, которым Францу полагалось восхищаться потому, что тот с упоением совершал жестокие поступки, а под конец без церемоний расправился с самим собой. Настоящий герой short story[95]. Впрочем, Франц, может быть, тоже настоящий герой short story. Но в памяти Розы Франц навсегда остался человеком, утратившим самого себя.

Увидев Франца, она тотчас же его простила. Он стоял перед ней, опустившийся бродяга, оборванец: от него все испуганно шарахались, как птицы от пугала. За несколько часов он превратился в нищего в лохмотьях. Едва он взглянул на Розу, как она, забыв о гордости, самолюбии, упреках, бросилась к нему.

Маринелли проскользнул мимо охранников, опасливо покосился по сторонам, сел без приглашения, сделав вид, будто он тоже постоялец отеля — ее спутник, и взмолился: «Если ты не дашь мне пятьдесят долларов, меня арестуют! Ты не знаешь, что значит оказаться в кубинской тюрьме!» В Вене он ей все вернет. Значит, у Розы есть надежда увидеть его дома. Она прошла к банкомату и получила для него пятьсот долларов. «Тебе этого хватит? Отдашь в Вене». Франц всего один раз обнял ее, поцеловал, и с этим они расстались.

Он вышел, сел в такси, заплатил шоферу и теперь в одиночестве брел по набережной Малекон, уже довольно твердо держась на ногах, словно упустил достойный шанс умереть.

Все пропали друг за другом. Сначала свиньи. Потом делегация, умчавшаяся на запад. Потом Рамона и Ренье. У него оставалась только Роза. Ее-то уж он не потеряет. Каким — то образом он, вероятно, все-таки добрался до отеля «Довиль», потому что на следующее утро в одежде, помятой и испачканной, проснулся у себя в номере.

Он встал и, не умываясь, решил пойти на море.

Была только половина седьмого, но он брел по направлению к Малекону и, казалось, взглядом искал в волнах потерпевших кораблекрушение, а на песке — выброшенные морем обломки судна. В открытом кафе напротив уже завтракали первые посетители, европейцы, которые и понятия не имели, что за коварная штука время. Но Франц знал, как трудно бороться с его натиском, и потому двинулся в направлении горизонта.

Раньше его терзала просто тоска. Теперь — тоска по родине. До сих пор это была просто тоска. Сейчас тоска по родине.

Дни начинались с чудного утра, а в Варадеро[96] лежали на пляже прекраснейшие недоступные создания, — пространство вторгалось во время, время в пространство, он уже переставал их различать, теряющий очертания мир беспощадно подчинял его себе и вращался вокруг него.

Маринелли потихоньку пожирала его любовь. Ногти теперь росли с безумной быстротой, волосы тоже, все росло с безумной быстротой, ему даже чудилось, будто дети росли с безумной быстротой и уже перерастают его, как великаны. После него все заполонят другие. А потом выросшие дети, волосы и ногти тоже пропадут неведомо куда.

Он смотрел на самолеты, которые летели домой. Небо над ним было как это голубое море.

Он смотрел на море, раскинувшееся за набережной Малекон.

Проститутке неподалеку от него, которая вообще-то предпочитала мужчин и которую сняли две лесбиянки из Испании, вскоре пришлось раздеться и показать товар лицом — такую судьбу разделяли с ней большинство шлюх обоего пола в этом мире. Ей отчаянно хотелось прикончить своих мучительниц, совсем как Францу недавно Ренье и Рамону, но кровь на свете проливалась так часто, что об этом и в газетах писать перестали.

Франц медленно бродил по набережной Малекон туда-сюда. Только она вела из Гаваны в море.

Он уселся на бетонный парапет и сидел, болтая ногами. Он так долго пил, что уже протрезвел. Малекон! Бетон! Дыры, негативы видимого, негативы материи, крошечные черные дыры.

Он исходил взглядом всю набережную. Нет, скорее избродил, едва переводя взгляд.

«Гавана, 26.02. 11 часов утра, набережная Малекон, — записал он в дневнике, и дальше: — *Трагедия фотографа заключается в том, что ему не запечатлеть себя на снимке».* А несчастья его происходили оттого, что он не мог уйти от самого себя.

Когда-то он пробовал писать, но забросил свои опыты: писателя из него не получилось. Его способностей достало только на фотографии, которые его не запечатлели. Он стал фотографом по ошибке, наивно полагая, что сможет сфотографировать свой мир. Но в его памяти люди и события остались совсем не такими, как на фотографиях.

Маринелли в Гаване, в перспективе струпья, короста и гной. Сначала все было розовым, веселым и многообещающим, потом стало безмолвно клониться к закату и гибели. А потом сгустились сумерки.

Но, может быть, дома, за завтраком, за первыми булочками с медом, читая в газете последние новости, он снова вернется в свой мир, каким он был, есть и будет, с его бойнями, его жестокими оргиями, его вечным кровопролитием.

Всегда мог найтись кто-то, кто как ни в чем не бывало, без всякого смущения читает вслух последние новости, хотя в одном предложении могли встретиться сталелитейное акционерное общество и смерть. Друг за другом следовали годовой отчет организации «Помощь голодающим на земном шаре», контроль качества потребительских товаров, автомобильный салон в Женеве, Штеффи Граф и выигрыши в лотерею. И что же, это последние новости со всего мира?

А он от смущения всегда выбирал неподходящую тему и невольно создавал неловкую ситуацию. Например, вечно говорил о бедных в присутствии богачей, ездивших в Асти на открытие трюфельного сезона, и о смерти в присутствии живых, подписавшихся на журнал «Фитнес шутя».

Словно слабое, больное, бессловесное существо, которому не дано облечь в слова свои страдания, он смотрел на море, где ему все никак не встречалась смерть.

Ах, Рамона, — а потом сгустились сумерки.

Раньше он пугал и в конце концов заставлял заткнуться своих знакомых, заявляя, что ведет дневник. Кому же захочется очутиться на страницах дневника? А себя самого он заставлял заткнуться, бросая вести дневник. Дневник он задумал как признания человека, утром размышляющего, куда ему податься днем, как признания человека, живущего даже не одним днем, а мимолетными впечатлениями. Даже на пляже. Даже вообразив себя муравьем, в это мгновение посягающим на его полотенце.

Каких трудов стоило приморскому муравью взобраться по его шезлонгу и всползти вверх по полотенцу, но тут правая рука, не знающая, что делает левая, стряхивает его вниз. Ему еще повезло, он упал на песок и остался в живых.

А здесь даже муравьи не выживали. Жизнь на набережной Малекон была весьма суровой, и муравьи там почти не водились. Франц понял, что зажат между собственным прошлым и Америкой и ему отсюда не выбраться. *«Вот тебе и конец пришел. Это конец,* — думал он. *— Вот мне и конец».*

Он говорил о себе то во втором, то в первом лице. Иногда даже называл себя «мы».

Маринелли с трудом держался на ногах и, сам того не заметив, потерял ботинок. Ему казалось, будто он идет одной ногой по воде, а другой по песку. Он принимал валявшуюся бутылку за свой ботинок и думал, что нужно собраться с силами и его надеть.

«Сегодня я поеду в Шрунс», — сказал он себе под нос.

«Сегодня ты поедешь в Шрцбнс», — сказал он себе под нос.

«Сегодня мы поедем в Сцюксрмкс», — сказал он себе под нос, просто чтобы не молчать, сказать хоть что-нибудь.

Он один знал, как это произносить.

Потом он стал перечислять, да еще по порядку, всех мужчин — признанных обладателей самых больших членов, чтобы не сойти с ума, подобно тому как делал гимнастические упражнения в своей пизанской клетке, чтобы не сойти с ума, Эзра Паунд[97], а сейчас, в это мгновение, в камере смертников, и другие заключенные.

Он перечислял мужчин — признанных обладателей самых больших членов, как дети во время приступа икоты семерых лысых: семь монстров с большим членом, начиная с незабвенного Ханса Альберса[98], за ним следовали Че Гевара и принц Евгений[99], а из ныне живущих Рингсгвандль[100], Майкл Джексон и еще двое, имена которых здесь лучше не называть. Он боялся потерять рассудок. В последние недели этого он боялся больше всего, и потому, словно перебирая четки на молитве, повторял имена, в том числе и те, которые произносил мысленно, не вслух. Он попытался вспомнить таблицу умножения до десяти и другие упражнения из легкого, как пух, детства.

Так, одинокий, всеми покинутый, бессвязно говоря сам с собой, он погружался в неприметно, но неумолимо накаляющееся безумие.

Он снова брел по набережной Малекон, то и дело присаживался выпить, откупоривал бутылку и при этом рассматривал собственный живот.

Какое счастье — незачем больше его втягивать! Занимаясь любовью с Рамоной днем, он все время думал о том, что нужно втягивать живот. А ведь живот был еще хоть куда.

Теперь он уже втайне мечтал о зеркалах, которые показали бы его моложе и лучше, чем он был в действительности.

И совершенно напрасно, ведь даже те из его знакомых, кто безошибочно умел определять возраст, иногда спрашивали, сколько ему лет на прошлогодней фотографии.

Тогда он говорил: «Да не помню, давно это было», — и вынужден был примириться с тем, что фотографии лгут и что на самом деле он никогда не был так красив, как на фотографиях, и никогда не будет таким красивым, никогда, до самого конца. *Даже на фотографии в гробу я буду красивее, чем был в жизни.*

Он объяснял это тем, что не может фотографировать себя сам.

Он пил так долго, что почти успел протрезветь. Ему вдруг захотелось выкурить сигару. «Гаванская сигара» — разве это не синоним рая, по крайней мере судя по картинке на ящике сигар «Ромео и Джульетта»? Он снова поплелся в город. «Беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в Тебе», — писал Блаженный Августин, отринув земную жизнь, которой некогда наслаждался, в которую, должно быть, мучительно жаждал вернуться и которую поэтому столь яростно и красноречиво проклинал, чтобы не умереть от тоски по утраченному времени.

Он вошел в любимый подъезд, словно все как прежде, словно его опять ждет Рамона.

С трудом взобрался на седьмой этаж. По пути, шаркая мимо тех местечек, где Рамона говорила ему «бэби», он уже готов был повернуть назад и отказаться от своей затеи. Лифт так и не отремонтировали. Но Рафаэль, художник и парикмахер, был на месте. У него Франц подстригся и купил натюрморт в стиле Кокошки[101], а потом заказал по телефону два ящика «Ромео и Джульетты», которые вскоре доставил посыльный.

Он понюхал все двадцать пять сигар и помял каждую, чтобы убедиться, не подделка ли. Они оказались подлинные.

Франц сидел на парикмахерской табуреточке и курил «гавану», пока вокруг него падали на пол волосы, а Рамона в его видениях становилась все прекраснее. Всматриваясь в даль, он курил сигару за сигарой, словно смерть от табачного дыма — пустяшное дело.

Попутно он слушал, что рассказывает ему Рафаэль о преимуществах социалистической системы, называя цифры и сравнивая Кубу с США, где, за исключением Нью-Йорка, царит почти поголовная неграмотность. «Да и кубинский балет

знаменит во всем мире».

Потом последние метры, мимо двери в ее квартиру, на крышу-террасу.

Вид, который еще раз открылся оттуда, был настолько знаком, что у Маринелли перехватило дыхание и захотелось броситься вниз.

Затем он еще раз сходил в Центральный парк и посидел на террасе отеля «Инглатерра».

Мимо прошла одетая как девочка увядшая красотка с букетом цветов. Она покосилась на него и улыбнулась, а Маринелли все гадал, уж не ему ли она улыбнулась.

Может быть, это он на нее покосился.

Теперь он не старался запомнить даже самые прекрасные лица, ведь лица все равно останутся с ним до самого конца. Даже в нем самом. И он закрыл глаза.

Пора было позвонить из Центрального парка, из уголка, что выходил на отель «Плаза» и Художественный музей, за скамейкой, на которой он столько ночей просидел с Рамоной. Из телефонной будки прямо за «их» скамейкой он в последний раз позвонил в Вену. Набрал номер мобильного телефона. Автоответчик передал на Кубу начало «Маленькой ночной серенады». Восемь долларов за минуту, столько же стоит входной билет в Венской филармонии. Это был последний фрагмент венской классики, который он слышал в своей жизни. Но никто не ответил, его попросили оставить сообщение. Вот уже несколько недель он не звонил в Вену. Франц пообещал скоро приехать. Он добавил: «Все хорошо». Если бы Франц был пилотом и сейчас вел самолет, то эти слова оказались бы последней записью в «черном ящике».

В порыве внезапного вдохновения он встал, машинально подошел к одному из желтых такси на стоянке у отеля, сказал: «На пляж Патриса Лумумбы», — и вскоре они уже ехали по улочке, узенькой и кривой, точно такой, на которой за поворотом скрывается его венский дом. И Малекон тоже как будто убегал, тоже тосковал, но точно не знал по чему.

Он любил улочки, узенькие и кривые, словно за любым их поворотом скрывается его родной дом. Только вот как добраться с моря до дома?

Франц много лет прожил так, словно его жизнь — единственный аргумент, который он рано или поздно предъявит смерти.

Но жизнь оказалась маленькой желтой лодочкой, которая однажды днем, а может быть, и ночью появилась на экране, бесследно исчезла с экрана и затонула, просто так, тихо, без

свидетелей.

Наконец он собрался, словно в последнее путешествие, на пляж имени Патриса Лумумбы, захватив с собой чемодан и натюрморт в стиле Кокошки. Да и бутылку не забыл. Там он собирался глушить ее любимый напиток до тех пор, пока не остановится его разбитое сердце.

И под конец он смотрел на свою жизнь так, словно ее прожил кто-то другой, а не он, словно его жизнь — это не его жизнь, а кого-то другого.

К этому остается добавить только безмолвие и голубой цвет.

Конечные титры:

А теперь вы, может быть, захотите узнать, что сталось со свиньями и другими людьми и животными, которые появлялись и исчезали, вы ведь не знаете точно, живы ли они еще, и надеетесь, что с ними все хорошо.

Свиней, например, прикончили весьма нетрадиционным способом. Их усыпили большой дозой снотворного и, не дожидаясь, пока они уснут навсегда, перерезали им, мирно спящим, горло и спасли их для свадебного стола, засолив, нарезав на небольшие аккуратные кусочки и немедленно перевезя в деревню, в дом, который купил молодоженам Франц… А потом состоялась свадьба Ренье и Рамоны. Это был настоящий праздник. Ренье и Рамона смогли наконец наесться досыта.

Может быть, они и сейчас счастливы друг с другом.

Сняв Маринелли с должности и бросив его на произвол судьбы, венцы как ни в чем не бывало поехали дальше в Виналес, и мужчины вдоволь запаслись коибами. Из Виналеса они отправили один факс в Австрийское посольство в Гавану, а другой в Вену, министерскому советнику Смолке. Потом они вернулись в Вену, так и не встретившись с Габриэлем Гарсиа Маркесом и не добившись всемирной известности, и еще долгие годы рассказывали о Маринелли и о своей поездке в Гавану. Однако вскоре по возвращении они уже читали в кафе некрологи, где говорилось о том, что «навсегда ушел от нас Франц Маринелли».

Роза была безутешна, а Франца Маринелли похоронили в море, согласно его завещанию, и погребение состоялось на принадлежавшей другу семьи Маринелли — маклеру по продаже недвижимости и владельцу похоронного бюро — роскошной океанской яхте, которая вышла в открытое море из Пирана под Триестом, держа курс на Венецию.

Церемония похорон оказалась на редкость бурной.

Играл специально заказанный оркестр.

Не успела яхта выйти в открытое море, как поднялось небольшое волнение, но, несмотря на шторм, капитан приказал

встать на якорь в намеченном месте.

«Наконец волнение достигло десяти баллов, — сообщает один из приглашенных. — Урна из цветного стекла с Мурано, та ваза из дворца на Рингштрассе, свадебный подарок, стоит на столе в салоне на корме верхней палубы.

Она соскальзывает со стола и разбивается на полу, на сизалевом [102] ковре, или это был флокати?[103]

Кое-кого из тех, кто пришел проводить Франца в последний путь, вырвало. Ковер, вместе с прахом и осколками вазы с Мурано, поспешно свернули и из последних сил выбросили за борт.

Бедная ваза с Мурано!»

Пусть это останется Йоргу Броде

notes

Примечания

1

Я буду ждать тебя всю жизнь и твоего звонка сегодня в половине восьмого. Рамона (англ.).

2

Итало Звево (наст, имя Этторе Шмитц, 1861–1928) — итальянский писатель.

3

Хузум — город на севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

4

Я тебя люблю, мой дорогой, — вечно твоя Рамона (исп.).

5

Коронные земли — коренные владения правившей в Австрии императорской семьи Габсбургов.

6

Шёнбрунн — дворец и парк в Вене.

7

Максимилиан Мексиканский — Максимилиан IV Габсбург (1832–1867), австрийский эрцгерцог, брат императора Франца Иосифа. Генерал-губернатор австрийских владений в Мексике, в 1864 г. возведен на мексиканский престол, впоследствии низложен не признавшим его населением Мексики и расстрелян.

8

Противовоздушные башни — построенные в 1940-е гг. по приказу Гитлера, напоминающие средневековые крепости сооружения, с которых предполагалось вести заградительный огонь по вражеским самолетам. Памятники эпохи национал-социализма в Германии и Австрии.

9

Отто Мюль (р. 1925) — австрийский художник-авангардист, основоположник акционизма и "психофизического натурализма" в живописи, участник хеппенингов, охотно эпатировавший публику. Неоднократно пытался основать в Австрии коммуны, члены которых считали своим долгом порвать с "буржуазной моралью". Подвергался арестам за оскорбление нравственности и антиобщественное поведение.

10

Ланзароте — живописный остров в архипелаге Канарских островов, облюбованный представителями религиозных сект и борцами против морали общества потребления.

11

Гринцинг — район Вены.

12

Томас Бернхард (1931–1989) — известный австрийский писатель и драматург.

13

Глоггниц — живописный город в Австрийских Альпах.

14

Собор святого Стефана — главная достопримечательность Вены.

15

«Бухающий колокол» — один из колоколов собора св. Стефана, отлитый в XVII в. из захваченных у турок пушек и звонящий лишь по особо торжественным церковным праздникам.

16

«Колокола святого Антона» — сентиментальный роман немецкого писателя Ханса Эрнста (1904–1984), образец патриархальной сельской идиллии.

17

Фельдкирх — город в австрийской земле Форарльберг, знаменитый средневековой архитектурой.

18

В оригинале цитируется строка стихотворения Готфрида Бенна «Bliiht nicht zu friih, ach bliiht erst wenn ich komme…».

19

Фридрих Ницше. Ессе Homo. Автобиография (1888).

20

Аллюзия, отсылающая к Библии и тексту «Фауста» Гете.

21

Со времен основания города (Рима) (шт.), в более широком смысле — «с самого начала».

22

Лукка — небольшой живописный городок под Пизой.

23

Понте Веккьо (Старый Мост) — одна из достопримечательностей Флоренции, мост через реку Арно, построенный в XIV в.

24

Местре — материковая часть Венеции.

25

Альбан Берг (1885–1935) — австрийский композитор.

26

Гленн Гульд (1932–1982) — канадский пианист, отличавшийся экспрессивной манерой исполнения.

27

Боязнь пустоты (лат.).

28

Возможно, намек на изобилующий сценами сексуального насилия и пыток фильм Пьера Паоло Пазолини по мотивам произведений маркиза де Сада «Сало, или Сто двадцать дней Содома» (1975), действие которого происходит в этом местечке на севере Италии.

29

Азоло — небольшой город на севере Италии.

30

Капелла Скровеньи — небольшая церковь в Падуе, знаменитая фресками Джотто.

31

Виллы Палладио — 16 вилл в окрестностях города Виченца, построенных знаменитым зодчим эпохи Возрождения Андреа Палладио, известный памятник архитектуры.

32

Коиба — сорт дорогих гаванских сигар.

33

Зальцкаммергут — курорт в центре Австрии.

34

Мертвый месяц ноябрь — традиционное католическое название осеннего месяца, на который приходятся церковные праздники День всех святых и День поминовения всех усопших (1 и 2 ноября).

35

Церковь Марии Заступницы — знаменитая готическая церковь, построенная в Средние века на месте славянских сторожевых башен, одна из достопримечательностей федеральной земли Штирия и место паломничества католиков.

«Рожденный безудержным» (англ.).

«Беспечный ездок» (англ.).

38

Фридерика Майрёкер (р. 1924) — известная австрийская поэтесса, прозаик, эссеист.

39

Эрнст Яндль (1925–2000) — известный австрийский поэт.

40

Чур — округ в Швейцарии (кантон Граубюнден) и главный город этого округа.

41

Как дела? (англ.)

42

В оригинале цитируется текст шлягера «В белом, с букетом в руках, — такой я вижу тебя в самых прекрасных мечтах» популярного немецкого певца Роя Блэка.

43

Как вас зовут? (англ.)

— Меня зовут Рамона.
— А меня Франц.
— Вы откуда?
— Из Австрии.
— А, кенгуру.
— Нет, горы. (англ.).

45

Приятель-гей (англ.).

46

Дэвид Хоти (р. 1937) — известный англо-американский художник; калифорнийская вилла с бассейном, окруженным пальмами, — один из его излюбленных мотивов.

47

Рейнальдо Аренас (1943–1990) — кубинский писатель-диссидент, преследовавшийся режимом Кастро.

48

Язвы общества (исп.).

49

Часы, не показывайте время, / Часы, замедлите ход, / Потому что моя жизнь кончается (исп).

50

Сьенфуэгос — крупный приморский город на Кубе.

51

«Батида де коко» — бразильский кокосовый ликер.

52

«Buena Vista Social Club» — документальный фильм Вима Вендерса о кубинских музыкантах, исполняющих традиционную латиноамериканскую музыку, и, по мнению автора романа, показывающий кубинскую действительность в идеализированном виде.

53

Insolvenz (нем.) — неплатежеспособность, банкротство.

54

Хосе Лесама Лима (1910–1976) — известный кубинский писатель.

Здесь: возлюбленный (исп.).

56

Я буду ждать тебя всю жизнь и твоего звонка сегодня в половине восьмого — Рамона (англ.).

«Голубка» — знаменитая кубинская песня.

58

Сантерия — кубинская секта, сочетающая в себе христианско-католические элементы и традиционные африканские верования.

59

Аюрведа — древнеиндийская система оздоровления организма, включающая в себя особое питание, комплекс физических и дыхательных упражнений.

60

Великие Моголы — династия, правившая в Индии в XVII–XIX вв. Города Великих Моголов, расположенные главным образом на севере страны (Агра, Джайпур и др.), славятся памятниками архитектуры, наиболее известный из которых — мавзолей Тадж-Махал.

61

Альзергрунд — район на северо-западе Вены.

62

Хумидор — герметичный ящик для хранения сигар, как правило сделанный из дорогих пород дерева.

63

Виналес — живописная долина в окрестностях Гаваны, знаменитая своими табачными плантациями.

64

«Происхождение видов путем естественного отбора* (1859) — ученый труд Чарльза Дарвина (1809–1882).

65

«Ты вечно с нами» (исп.) — начальные строки известной песни, обращенной к Че Геваре.

66

Фульхенсио Батиста (1901–1973) — кубинский диктатор в 1933–1944 и 1952–1959 гг.

67

Энрико Карузо (1873–1921) — знаменитый итальянский оперный тенор.

68

Аль Капоне (наст, имя Альфонс Капони) (1899–1947) — чикагский гангстер.

69

Сильвана Мангано — актриса, сыгравшая главную женскую роль в фильме Пазолини «Теорема».

70

Пабло Пикассо (1881–1973) — знаменитый художник; Франсуаза Жило (р. 1922) — его возлюбленная.

71

Он чем-то похож на автомобильного магната (англ.). Реплика Розы представляет собой каламбур, в котором обыгрывается фамилия директора автомобильного концерна «Даймлер Крайслер» Юргена Шремппа.

72

Матанзас — провинция на севере Кубы; такое же название носит главный город провинции.

73

Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — древнеримский историограф, автор «Истории Рима от основания города».

74

Гай Юлий Цезарь (100-44 до н. э.) — римский полководец и политический деятель; имеются в виду его «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне».

75

Гай Светоний Транквилл (ок. 70 — ок. 140) — автор сочинения «О жизни двенадцати цезарей», наряду с историческими фактами содержащего многочисленные анекдоты.

76

«Пина колада» — коктейль из кокосового ликера, сока ананаса и белого рома.

77

Сокровище (исп.).

Ты вечно с нами (исп.).

79

Жан Поль Сартр (1905–1980) — французский писатель — экзистенциалист, философ.

80

Асти — провинция в Италии, центр разведения трюфелей.

81

Имеется в виду эпизод ветхозаветной Книги Ионы: корабельщики-язычники во время шторма, бросив жребий, выясняют, что причина их бед — плывущий на их судне пророк Иона, поклоняющийся Яхве, которого они затем бросают в море. Ирония автора заключается в том, что библейский пророк, в отличие от героя романа, осознавал свою вину перед Богом (отказ проповедовать в Ниневии), считал справедливой постигшую его кару и сам настаивал на том, чтобы корабельщики бросили его за борт.

82

Упоминается молитва французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944): «Господи, я молю не о чудесах и видениях, дай мне силы прожить день, научи меня терпению, смирению и радости малых свершений!»

83

Милый Августин — уличный певец, волынщик и поэт-импровизатор Маркус Августин, по преданию живший в Вене в XVII в. С его именем связана впервые зафиксированная в 1800 г. песенка «Ах, мой милый Августин», в которой он якобы воспел собственные несчастья: безденежье, измену возлюбленной и т. п.

84

Князь Карло Джезуальдо ди Веноза (ок. 1560 — ок. 1613) — известный итальянский композитор эпохи Возрождения, автор мадригалов на стихи Торквато Тассо. Ок. 1595 г. убил жену и ее любовника.

85

Перевод Ю. Балтрушайтиса под редакцией В. Хинкиса.

86

Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль, / Лишь ты угадать сумела мою печаль. / Заря золотила ясных небес края, /И ты мне в слезах шепнула: «Любовь моя! / Где бы ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, / Я прилечу голубкою сизокрылой!» (исп.) — цитируется известная кубинская песня «La Paloma» («Голубка», русский текст С. Болотина и Т. Сикорской).

87

Блаженный Августин. Исповедь.

88

Команданте Че Гевара, ты вечно с нами! (исп.)

89

«Венская кровь» (1873) — вальс австрийского композитора Иоганна Штрауса (1825–1899).

Ляйнц — район Вены.

91

Ты вечно с нами (исп.).

92

«Мохито» — коктейль из мятного ликера и лимонного сока со льдом.

93

Эрнест Хемингуэй (1899–1961) — американский писатель, несколько лет провел на Кубе; покончил с собой.

94

Джорж Гордон Байрон (1788–1824), Перси Биши Шелли (1792–1822), Джон Китс (1795–1821) — английские поэты-романтики.

Short story (англ.) — рассказ, новелла.

96

Варадеро — кубинский курорт, знаменитый своими пляжами.

97

Эзра Паунд (1882–1975) — известный англо-американский поэт.

98

Ханс Альберс (1891–1960) — известный немецкий актер.

99

Принц Евгений Савойский (1663–1736) — австрийский полководец и политический деятель.

100

Георг Йоханн Рингсгвандль (р. 1948) — немецкий рок-музыкант.

101

Оскар Кокошка (1886–1980) — австрийский живописец, график и драматург.

102

Сизаль — субтропический кустарник, из волокна которого изготавливают циновки и ковры.

103

Флокати — род греческого ковра, сотканного по особым старинным правилам.